

Марк АЛДАНОВ

# ДЕВЯТОЕ ТЕРМИДОРА



Мыслитель

Марк Алданов

**Девятое Термидора**

«ВЕЧЕ»

1923

**Алданов М. А.**

Девятое Термидора / М. А. Алданов — «ВЕЧЕ»,  
1923 — (Мыслитель)

ISBN 978-5-9533-4788-4

Роман «Девятое термидора», созданный выдающимся русским писателем и философом Марком Алдановым, посвящен свержению диктатуры якобинцев и гибели их лидера Максимилиана Робеспьера. Автор нашел логичное объяснение загадки драматических и весьма противоречивых событий, произошедших накануне смерти французского диктатора. Данный роман входит в тетралогия «Мыслитель», охватывающую огромную панораму мировой истории от Французской революции и царствования Павла I до заката Наполеоновской империи.

ISBN 978-5-9533-4788-4

© Алданов М. А., 1923

© ВЕЧЕ, 1923

## Содержание

Об авторе	6
Пролог	8
Часть первая	14
1	14
2	17
3	22
4	26
5	28
6	32
7	37
8	42
9	47
10	51
Конец ознакомительного фрагмента.	54

# **Марк Алданов**

## **Девятое термидора**

© ООО «Издательство «Вече», 2013

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

\* \* \*

## Об авторе

Прозаик, публицист и философ Марк Алданов принадлежит к числу наиболее интересных и очень плодотворных писателей первой послереволюционной волны русской эмиграции. Марк Александрович Ландау (такова настоящая фамилия писателя) родился 26 октября (7 ноября) 1886 г. в Киеве, в семье богатого и хорошо образованного сахарозаводчика Александра Марковича Ландау. Учился маленький Марк в классической гимназии, а по ее окончании – в Киевском университете, причем сразу на двух факультетах: физико-математическом и юридическом. Страстью молодого М. Ландау была химия. Этой науке он посвящал много времени. Доходы семьи позволяли отправить молодого человека в Европу. Во время этих странствий Марк увлекся европейской историей, познакомился со многими интересными людьми, с политиками и даже с государственными деятелями. Побывал он и в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

После начала Первой мировой войны М.А. Ландау вернулся в Россию, работал по специальности химика, публиковал статьи в профессиональных журналах; одновременно он начал работать над двухтомным литературно-критическим трудом «Толстой и Роллан». Будущий писатель любил сочинения Льва Толстого и преклонялся перед его гением. В 1915 г. была готова первая часть книги, посвященная как раз Толстому. Рукопись второй части погибла в годы Гражданской войны, и к ней Алданов больше не возвращался, тогда как первый том впоследствии переработал в книгу «Загадка Толстого». В 1917–1918 гг. Марк Алданов пишет книгу диалогов на общественно-политические и философские темы, которую символически называет «Армагеддон». С той поры битва Сил Добра и Сил Зла стала основным мотивом творчества писателя, причем Злом, по крайней мере, в отношении России, Алданов считал революционеров, какого бы оттенка ни были их убеждения. Не приняв русскую революцию, он воспользовался первым удобным случаем и эмигрировал. Еще в 1918 г., будучи секретарем Союза возрождения России, объехал ряд европейских столиц, пытаясь получить реальную помощь для борьбы с большевиками. Кажется, это было единственное политическое деяние Алданова в эмиграции, если, конечно, не считать его работы как публициста в газетах «Дни» (Берлин), «Последние новости» (Париж), «Новое русское слово» (Нью-Йорк) и других. С конца 1920-х гг. М. Алданов состоял в рядах нескольких масонских лож и достиг высоких степеней масонской иерархии. Писатель не отказывался и от своего увлечения химией, выпустив в 1937 и в 1951 гг. серьезные монографии по химии, получившие положительную оценку ученого сообщества. Но основные силы Алданов отдавал написанию исторических романов – поприщу, на котором он добился недюжинного успеха. Первой его заметной работой в этом направлении стала тетралогия «Мыслитель» (1921–1927), посвященная тридцатилетнему отрезку французской истории от Великой революции до окончания Наполеоновских войн: «Девятое термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена, маленький остров». Затем последовала трилогия о Первой мировой войне и русской эмиграции: «Ключ», «Бегство», «Пещера». Для исторических романов М. Алданова характерны сложно построенный сюжет и яркие, образные характеристики действующих лиц, в том числе – реальных исторических персонажей.

Годы Второй мировой войны Алданов провел за океаном, в США, где создал одно из лучших своих произведений – роман «Истоки», посвященный революционному движению 1870-х гг. (опубликован в 1950 г.). После войны писатель вернулся во Францию, где несколько лет работал над «Повестью о смерти» (1953), посвященной последним годам жизни Оноре де Бальзака. Эту книгу писатель считал одним из самых значительных своих произведений. Нельзя не отметить книгу «Ульмская ночь. Философия случая» – крупную философскую работу М. Алданова, вышедшую в том же 1953 г. В этой работе автор опровергает идею о прогрессивном движении истории, одновременно отрицая историческую предсказуемость общественных

явлений. Алданов был знаком и поддерживал тесные отношения с И. Буниным, В. Ходасевичем, В. Набоковым и другими видными деятелями российской эмиграции. Умер Марк Александрович 25 февраля 1957 г. в Ницце. Его книги пришли в Россию (тогда еще – СССР) через три десятилетия. Произведения Алданова стали открытием для отечественного читателя, и, надо сказать, приятным открытием. Первое советское собрание сочинений писателя вышло в 1990 г.

*Анатолий Москвин*

**ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ МАРКА АЛДАНОВА:**

«Святая Елена, маленький остров» (1921)

«Девятое термидора» (1923)

«Чертов мост» (1925)

«Заговор» (1927)

«Ключ» (1929)

«Бегство» (1932)

«Пещера» (1936)

«Начало конца» (1938)

«Истоки» (1950)

## Пролог

Молодому русскому Андрею Кучкову очень понравилась столица короля Филиппа-Августа. Париж был как будто поменьше и победнее, чем родной город Кучкова Киев, особенно до разорения киевской земли князем суздальским Андреем Боголюбским. Но в обеих столицах было что-то общее: или небо, светлое, изменчивое и многоцветное; или веселый нрав жителей; или окрестные зеленые холмы, – холмы Монмартрского аббатства и Печерского монастыря. Жить в Париже было много спокойнее, чем в Киеве. Не грозили французской столице ни половцы, ни печенеги, ни черные клобуки, ни исконные враги киевлян – суздальские и владимирские полчища. Правда, при нынешнем великом князе Святославе Всеволодовиче киевская земля несколько отдохнула от войн и набегов, но еще свежи были в памяти киевлян и тяжелая дань, наложенная на город Ярославом Изяславичем, дань, которую платили все: игумены, и попы, и чернецы, и черницы, и латина, и иудеи, и гости. Памятен был им и разгром Киева Андреем Боголюбским, когда были на всех людях стон и туга, скорбь неутешная и слезы непрестанные. Да и теперь каждый год могли нагрянуть и хан Гзак, и хан Кончак, окаянный безбожный и треклятый, и Ростиславичи Смоленские, а то и сам Всеволод Суздальский Большое Гнездо. В Париже об иноземных нашествиях давно забыли. Город рос, процветал и славился наукой: прогремели на весь мир, вплоть до русской земли, великие парижские ученые: Адам с Малого моста, Петр Пожиратель, Петр Певец и особенно славный Абельяр. Молодой Андрей Кучков душой был рад тому, что послал его князь Святослав Всеволодович в Парижский университет изучать латинскую мудрость: *trivium, quadrivium, physica, leges, decretum* и *sacra pagina*<sup>1</sup>.

В Париже у Андрея Кучкова был дальний родственник, дед которого уехал из Киева в свите Анны Ярославовны, дочери великого князя, вышедшей замуж за французского короля Генриха. Но родственник этот, славный воин и крестоносец, уже по-русски совсем не говорил. Принял он Андрея Кучкова радушно и в первые же дни показал ему столицу Франции. Показал *palatium insigne* – дворец Филиппа-Августа, раскинувшийся на самом берегу реки, на восточном углу парижского острова<sup>2</sup>. Андрею Кучкову понравились и укрепления дворца, и собственные королевские покои, густо выстланные мягкой соломой, на которой почивал любивший роскошь Филипп-Август, и пышная, расписная, с позолоченными сводами баня, где два раза в год – на Рождество и на Пасху – купалась французская королева. Понравились ему и подвальные помещения дворца, носившие название *Conciergerie*<sup>3</sup>.

Показал Андрею родственник также окраины города: болота правого берега реки Сены – там король собирался строить новый дворец Лувр, и виноградники левого берега – среди них на горе святой Женеьевы раскинулся славный Парижский университет. А затем воин повел Кучкова смотреть главное чудо столицы: Собор Божьей Матери, начатый постройкой не так давно архиепископом Морисом де Сюлли и уже почти готовый.

По дороге они остановились поглядеть на зрелище, не привычное для молодого киевлянина. На севере острова, на высоком, в человеческий рост, квадратном костре из хвороста и соломы жгли трех колдунов, одну ведьму, двух мусульман, двух иудеев и одного кагота. Андрею Кучкову это было хоть и страшно, но очень интересно: в Киеве никогда никого не жгли и даже вешали редко, а наказывали больше потоком, разграблением или простой денежной пеней. Воин объяснил молодому человеку, что наследство сожженных поступит в королевскую казну,

---

<sup>1</sup> Тривиум (цикл из трех наук: грамматики, диалектики и риторики), квадравиум (цикл из четырех наук: арифметики, музыки, геометрии и астрономии), естествознание, юриспруденция, законоведение и Св. Писание (лат.).

<sup>2</sup> Нынешний Palais de Justice (Дворец правосудия). – Автор.

<sup>3</sup> Буквально: жилище привратника (франц.).



и похвалил мудрую финансовую политику короля Филиппа-Августа, отец которого, покойный Людовик VII, отличался чрезмерной кротостью, всем иноверцам был рад, колдунов жечь не любил, а потому и оставил казну совершенно пустою. Андрей Кучков не согласился, однако, со взглядом своего родственника: князь Ярослав завещал киевской земле наставления другого рода.

Когда дувший с реки Сены ветерок развеял запах горелого мяса и серы, а палач, *le tourmenteur jure du Roy*<sup>4</sup>, стал рассыпать лопатой пепел в разные стороны, они пошли дальше. Андрей Кучков очень хотел увидеть Собор Божьей Матери, но и боялся немного, как бы этот собор не оказался лучше церкви Святой Софии, которую великий князь Ярослав воздвиг в Киеве на удивление миру. Оказалось, однако, что храмы совершенно друг на друга не похожи. Оба были на редкость хороши, только киевский светел и приветлив, а парижский угрюм и страшен: день и ночь. Андрей Кучков долго любовался великолепным Собором Божьей Матери. Затем вместе с воином и со знакомым воина, пожилым благодушным монахом, они пошли закусить в соседний кабачок.

В кабачке перед очагом сидел странный человек лет шестидесяти, в черном коротком костюме, со шпагой, но без кинжала, в высоких сапогах, но без длинных рыцарских носков, с усами, но без бороды, – рыцарь не рыцарь, но и не простой горожанин и не духовное лицо. Он потягивал вино и задумчиво смотрел на раскаленный вертел, на котором жарился лебедь. Лицо у него было странное, усталое, темно-желтое, а глаза серые, холодные и недобрые. Монах знал этого человека и шепнул спутникам, что по ремеслу он мастер-ваятель, происхождения же темного: едва ли не *convers*<sup>5</sup>, а впрочем, может быть, и не *convers*, но, во всяком случае, мастер весьма искусный и очень ученый человек. С ним любили, встретившись в кабачке, поговорить о серьезных предметах знаменитейшие доктора и реалистского и номиналистского толка.

Монах познакомил своих спутников с ваятелем, и они вместе уселись у очага. Воин сообщил, что молодой иностранец прибыл из далекой страны, откуда была родом покойная королева Анна. Ваятель слышал и читал об этой стране и об ее славной столице, которая в арабских рукописях именовалась Куяба и которую латинский путешественник назвал: *Chuve, aemula sceptri Constantinopolitani, c'laris-simum decus Graeciae*<sup>6</sup>. Андрей Кучков был очень польщен похвалой своему городу и, как мог, восторженно описал Киев, его красоту и богатство, тридцать церквей и семьсот часовен, митрополию святой Софии, и храм Богородицы Десятинной, и златоверхий Михайловский монастырь, и верхний город с воротами Золотыми, Лядскими и Жидовскими, и великий двор Ярославль, и торговый квартал Подолье, и зеленый Кловский холм за Крещатицким ручьем, и пышные сады над самой прекрасной в мире рекой. Ваятель и монах слушали с любопытством, хоть и не совсем понимали странное латинское произношение рассказчика с ударениями на «о». Воин между тем заказывал ужин, ибо время было позднее: четыре часа дня; парижане обедали утром часов в десять. Ужин был очень простой: три супа (в честь Святой Троицы) – из риса, из бураков и из миндального молока; шафранный пирог с яйцами, другой пирог с грибами, два блюда рыбы, морской и пресной, баранина под соусом из горчицы, жареный лебедь, два разных салата, шартрское пирожное пяти сортов и легкий десерт – *issue de table*<sup>7</sup>. Андрей Кучков нашел, что в Париже едят немного, но зато хорошо. Руками ели только рыбу, мясо и сладкое, а к супам были поданы ложки, бывшие в ту пору новинкой. Хозяин принес несколько бутылок: предложил гостям и местное парижское вино, и греческое, и сладкий напиток Святой земли.

<sup>4</sup> Присяжный королевский мучитель (франц.).

<sup>5</sup> Иудей, принявший христианскую веру. – Автор.

<sup>6</sup> Киев, соперник царственного Константинополя, красоты и гордости Греции (лат.).

<sup>7</sup> Завершение трапезы (франц.).

После первого же блюда монах, обращаясь к скульптору, начал для приличия ученый разговор, коснулся *principia essendi* и *principia cognoscendi*<sup>8</sup>, процитировал Иоганна Стога Эригену, святого Ансельма и Бернарда Шартрского. Андрей Кучков слушал с благоговением, воин – с испугом, а ваятель – с усмешкой.

– *Mundus nec invalida senectute decrepitu, nec supremo obitu dissolvendus, exemplari suo aeterno aeternatur*<sup>9</sup>, – закончил убежденно монах.

Ваятель не ударил в грязь лицом и на цитаты ответил цитатами. Он в учении номиналистов видел меньше заблуждений, чем в доктрине реалистов, и ставил Росцеллина Компьенского выше тех авторов, на которых ссылался монах. Но, впрочем, Росцеллина также ценил не слишком высоко и утверждал, что от споров великих учителей у него болит голова и рождаются странные сны. Говорит загадочно Соломон Премудрый: *Multas curas sequuntur somnia, et in multis sermonibus invenietur stultitia*<sup>10</sup>.

Воин, которому надоели латинские цитаты, перевел разговор на темы военно-политические. С востока пришло недавно сенсационное известие: в Дамаске скорпостижно скончался великий мусульманский герой, знаменитый полководец, султан Юзуф бен-Айуб Салах-Эддин, в Европе именовавшийся Саладином.

– Десница Господня поразила этого неверного! – сказал, разливая вино по кружкам, монах. – Не будь его, нам, а не мусульманам, принадлежала бы теперь Святая земля. Над нашим правым делом восторжествовала его грубая сила.

Ваятель с усмешкой осушил кружку. Но воин, сам принимавший участие в Третьем крестовом походе, ударил рукой по столу и воскликнул, что хоть Саладин и неверный, и будет жариться в аду, но другого такого молодца не сыскать в целом мире.

– Нет у нас равного ему по доблести и по военному искусству, – горячо заметил он и с беспристрастием старого солдата принялся рассказывать чудеса о подвигах Саладина, который объединил под своей властью Сирию, Аравию, Месопотамию, Египет и хотел завоевать Константинополь, Италию, Францию, весь мир.

– Хотел завоевать весь мир, – повторил скульптор. – *Quid est quod tuit? ipsum quod futurum est...*<sup>11</sup> Александр и Цезарь тоже хотели...

– И завоевали! – воскликнул воин.

– Почти. Не совсем, – поправил ваятель.

Монах вздохнул и рассказал, что Саладин на одре смерти велел эмирам пронести по улицам Дамаска кусок черного сукна и при этом кричать в назидание мусульманам: «Вот все, что уносит с собой в землю повелитель мира Саладин!»

Воин, человек пожилой, задумался. А молодой Кучков, утомленный молчанием, рассказал о том, как в их краях один могущественный князь, Андрей Боголюбский, человек скверный и жестокий, но весьма искусный в ратном деле, тоже хотел подчинить себе мир и действительно объединил русские земли: разорил и унизил Киев, подчинил себе смоленских, черниговских, волынских, полоцких, новгородских, рязанских, муромских князей.

– А как кончил этот скифский Цезарь? – спросил с любопытством ваятель.

– Его убили, – с радостью ответил Андрей. – Прогневил он Бога своей крутостью, и невтерпеж стало людям сносить его власть. Двадцать человек ворвалось к нему темной ночью. Князь бросился было к мечу, да ключник Амбал с вечера утащил княжеский меч из опочивальни, и убил Андрея Боголюбского мой родич Яким Кучков.

Ваятель негромко рассмеялся.

<sup>8</sup> Первопричина бытия и первопричина познания (лат.).

<sup>9</sup> Мир, бессильный от старческого одряхления и близкий к гибели, увековечивает свой вечный образец (лат.).

<sup>10</sup> «...Как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов (лат.). – Екклесиаст. 5:2.

<sup>11</sup> Сколько таких было? И сколько таких еще будет... (лат.)

– Есть на Востоке поговорка, – сказал он. – Пошла овца добывать рога, вернулась без рогов и без ушей. *Multas suras sequuntur somnia... Quid est quod fuit? ipsum quod futurum est.* Воображение Творца велико, но не бесконечно. Бесконечна в мире только человеческая глупость. *Et aludavi magis mortuos, quam viventes et feliciorem utroque judicavi, qui necdum natus est, nec vidit mala quae sub sole fiunt*<sup>12</sup>.

Он вынул из кармана небольшую склянку и стал отсчитывать капли в стакан с водой. Затем размешал и выпил.

– Верно, ты это пьешь отраву, мрачный ученик Соломона Премудрого? – пошутил монах, с любопытством глядя на склянку.

– Нет, это капли жизни джулах. Я вычитал их состав в книге «Крабадин» мудрого врача Сабура-бен-Сахема.

– В наши годы полезно лечиться, – сказал одобрительно монах. – Я сам лечусь, как умею: *conjunctionibus, por tionibus, verbis, herbis et lapidibus*<sup>13</sup>. Говорят, будто восточные врачи знают такие капли, от которых сбываются человеческие желания.

– А ты чего же хочешь?

– Я? – переспросил монах и ненадолго задумался. – Хочу дожить до того дня, когда будет сломлена сила неверных, и вернется к нам навеки Святая земля, и во всем мире восторжествует наша великая церковь. Хочу сравняться благочестием с благочестивейшими. Хочу, вслед за мудрыми учителями, опровергнуть в ученой книге печальные заблуждения номиналистов.

– А я хочу, – сказал воин, – жить долго, пока руки способны держать меч. Хочу превзойти храбростью Конрада Монферра. Хочу на турнире выбить копьём из седла Ричарда Львиное Сердце. Хочу, чтобы вслед за славной жизнью послал мне Господь честную смерть в бою с сарацинами за святое, правое дело.

– А я хочу, – воскликнул Андрей Кучков, выпивший много греческого вина, – я хочу сначала постигнуть вашу латинскую мудрость: *trivium, quadrivium, physica, leges, decretum* и *sacra pagina*. Хочу затмить ученостью знаменитейших ваших учителей. Хочу также на турнире победить тебя, воин, после того, как ты выбьешь из седла Ричарда Львиное Сердце. А затем хочу сложить свою славу к ногам светлокудрой девы, что живет над рекой Борисфеном в тереме купца Коснячка.

– Вот это так, – сказал воин, засмеявшись, и налил юноше и себе по полной кружке греческого вина. – Ну а ты, мастер?

– Я ничего не хочу, – ответил медленно ваятель. – В молодости я имел много желаний, гораздо больше, чем ты, юноша. Год тому назад у меня оставалось только одно: закончить статую, творение всей моей жизни. На прошлой неделе я в последний раз прикоснулся к ней резцом. Теперь я ничего больше не хочу.

– Где же эта статуя? – спросили в один голос монах, воин и Андрей Кучков.

Ваятель открыл окно и показал рукой на вершину Собора Божьей Матери.

– Там! – произнес он проникновенно.

– Вот ты повел бы нас посмотреть ее, – заметил монах из вежливости: ему не слишком хотелось после плотного ужина подниматься по крутой лестнице церкви. Спутники монаха немедленно присоединились к просьбе. Ваятель кивнул головой. Воин подозвал хозяина и стал расплачиваться.

– Слава тебе, великий мастер, – сказал монах, – что данный тебе от Бога талант ты употребляешь на столь благочестивое дело. Зато будет вечно жить в потомстве твое имя. Ибо вечен Собор Божьей Матери.

---

<sup>12</sup> И ублажал мертвых... более живых... а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем (лат.). – Екклесиаст. 4:2–3.

<sup>13</sup> Заговоры, микстуры, заклинания, травы и камешки (лат.).

– Своего имени я не вырезал на статуе, – произнес медленно ваятель. – Его забудут на следующий день после моей смерти.

– Отчего же? – заметил укоризненно монах. – Дивясь твоему произведению, люди будут спрашивать: почему неизвестно нам имя благочестивого мастера?

– Нет, – сказал ваятель с живостью. – Кто увидит мою статую, тот этого не спросит.

Воин спрятал сдачу. Они вышли из кабака и перешли через площадь, направляясь к собору. У двери, ведущей на лестницу башен, сидела на тумбе дряхлая нищая старуха. Шамкая беззубым ртом, она бормотала дребезжащим голосом какую-то песенку. Лицо и платье древней старухи были одинакового серого цвета, цвета камней церкви. Ваятель остановился возле нее. Старуха бормотала:

Pur kei nus laissum damagier?  
Metum nus tors de lor dangier;  
Nus sumes homes cum il sunt;  
Tex membres avum cum il ont,  
Et allresi grans cors avum,  
Et altretant sotrir poum,  
Ne nus taut tors cuer sulement,  
Alium nus par serement...<sup>14</sup>

Ваятель с усмешкой глядел на старуху. Вдруг в его глазах проскользнул ужас. Он быстро вошел в боковую дверь церкви. По узкой винтовой лестнице, со ступеньками, расширяющимися к одному краю, держась рукой за тонкий железный прут перил, они стали подниматься к башням. Ваятель шел впереди, ступая тяжело и уверенно. Винтовой ход то светлел при приближении к бойнице, то снова темнел и становился страшен. На светлой площадке они перевели дух.

– Высоко же ты работаешь, мастер, – сказал монах, вытирая лоб рукавом рясы.

– Зато близко к небесам, – ответил ваятель. Голос его звучал в каменной трубе глухо. Они медленно двинулись дальше, прошли темный круг без окна и вышли на галерею. Их ослепило солнце. Андрей Кучков вскрикнул от восторга. Под ним был парижский остров. За рекой виднелась зелень виноградников и золото хлебных полей.

Ваятель подошел к перилам галереи. На них что-то было покрыто холстом.

– Покажи, покажи свое творение! – сказал, тяжело дыша, монах.

Кусок серого холста упал.

На перилах сидело каменное чудовище.

Монах, рыцарь и Кучков долго смотрели на него, не говоря ни слова.

– Уж очень он страшный, – сказал наконец Андрей.

– Да это что ж такое: зверь рогатый и горбоносый? – спросил с недоумением рыцарь, не сводя глаз со статуи.

– Мыслитель, – ответил медленно ваятель. – Дьявол-мыслитель...

– Помилуй! – воскликнул монах. – Да что ж дьяволу делать в таком месте? Побойся Бога!

Ваятель не слышал, по-видимому, слов своих спутников.

– Нет, брат, это ты напрасно изваял, – сказал с укором монах, – это насмешка и грех.

– Не насмешка, – ответил глухо ваятель. – Я не стал бы смеяться над самим собою...

---

<sup>14</sup> Песня нищей заимствована из «Le Roman de Rou» нормандского поэта XII столетия Робера Васа; ее транскрипция на современный французский язык находится в последней главе «Девятого Термидора». – Автор. Доколе есмы сущими в розни? Пора презрети ужасны козни. Вышняя воля нам подала Те же руци, нози и тела. Пребываем с иными в равной красе, Такжежде страждем ныне, как все, Донележе сердцу не дано Бысть с иными сердцами, будто одно... Перевод со старофранцузского Е. Витковского

– Какой страшный! – повторил Кучков. – Губа, как у лютого зверя. А глаза-то!.. И язык высунул от удовольствия... Чему он радуется?

Молодой русский посмотрел в ту сторону, куда был устремлен бездушный взор дьявола. На противоположном конце острова суетились люди: там разбирали остатки костра.

– Грех, грех, брат, – повторил укоризненно монах. – Добрый католик не создал бы такой статуи. Напрасно умудрил тебя Господь, послав тебе талант и науку.

Ваятель не отвечал ни слова.

## Часть первая

### 1

В начале 1793 года был послан генерал-лейтенантом Зоричем из его Шкловского имения в Петербург с важной миссией один очень молодой человек по имени Штааль.

Граф Семен Гаврилович Зорич, отставной фаворит Екатерины, был серб по происхождению. Настоящая фамилия его была Неранчичев. Усыновленный своим дядей, Максимом Федоровичем Зоричем, переселившимся из Сербии в Россию, он в рядах русской армии храбро сражался в Семилетнюю и в Турецкую войны. Под Рябой Могилой его взяли в плен турки, увезли в Константинополь и там заключили в Иеди-Куле, или Семибашенный замок. Много испытаний выпало на долю Зорича в его бурной молодости, – в Сербии, в походах, в каторжном турецком плену. Выпущенный на свободу и награжденный, один из первых, Георгиевским крестом, он как-то случайно попался на глаза Потемкину, который обратил внимание на необычайную красоту молодого серба. В то время князь Григорий Александрович уже не занимал должности фаворита императрицы. Его заместителем на этом посту был Завадовский. Потемкин очень не любил своих преемников, пытавшихся, по его примеру, заниматься государственными делами. При виде Зорича у князя – внезапно, как всегда, – явилась понравившаяся ему мысль: выдвинуть на первый в Российской империи пост кандидатуру молодого сербского офицера. Немедленно было сделано все необходимое, посланы соответствующие инструкции графине Брюс, – и очень скоро Семен Гаврилович Зорич стал официальным фаворитом императрицы Екатерины, в промежутке времени между бывшим театральным суфлером Завадовским и отставным польским тенором Корсаком. На него посыпались отличия. В день коронации Зорич был награжден чином генерал-майора и произведен в корнеты кавалергардского корпуса; затем получил украшенную бриллиантами звезду, аксельбанты, саблю, плюмаж, запонки и пряжку; потом мальтийский орден святого Иоанна, огромный дом вблизи Зимнего дворца, триста тысяч наличными деньгами, великолепное Шкловское имение, которое прежде принадлежало князьям Чарторыйским, и Велижское староство Витебской провинции Полоцкой губернии. Кроме того, он был назначен президентом Вольно-экономического общества. Не оставили без внимания заслуг Семена Гавриловича и иностранные монахи: польский король наградил его Белым Орлом, а шведский – орденом Меча.

Милость Зорича продолжалась, однако, не более года. Заметив охлаждение императрицы, он пришел в ужас и отчаяние, приписал все интригам Потемкина, вызвал было князя на дуэль, но в конце концов смирился, оставил опостылевшее Сарское Село и Петербург и отбыл на постоянное жительство в свое Шкловское имение. Первое время – впрочем, весьма недолго – он был чрезвычайно расстроен крушением своей государственной карьеры. Пост, который он занимал, очень ему нравился. Кроме того, он находил, что при отставке его обидели. Правда, полученные им алмазная табакерка квадратиком и особенно пояс в фунт золота, усыпанный бриллиантами и смарагдами, были хороши. Но пожалованное Семену Гавриловичу графское достоинство его не удовлетворяло. Он знал, что родовая русская знать иронически относится к смешному немецкому титулу графа, совершенно не известному в старину на Руси, и в свое время очень посмеивалась над Борисом Шереметевым, который, исходя от Андрея Кобылы, не уступая в знатности старейшим родам, тем не менее согласился испортить свое древнее имя этой петровской кличкой, еще вдобавок всякий раз подлежащей утверждению германского императора.

Денег и имущества Зорич получил также гораздо меньше, чем Орловы или Потемкин. Но это обстоятельство не так огорчало Семена Гавриловича. Он не был корыстолюбив и совер-

шенно не знал цены деньгам. Безмерно щедрый и расточительный, он при всем своем богатстве почти всегда нуждался и имел множество долгов.

Граф Зорич, умом вообще довольно плохо постигавший разницу между добром и злом, был по природе своей чрезвычайно добрый человек. Он очень любил Россию – той особенной любовью, какой ее любят некоторые из русских инородцев. Преуспев на поприще государственной службы и добившись высоких степеней, граф чувствовал потребность засвидетельствовать свою благодарность новой родине. А так как Зорич любил молодежь и, кроме того, сильно скучал в Шклове, то в одно радостное летнее утро он принял решение – не останавливаясь ни перед какими затратами, основать в своем поместье образцовое учебное заведение для детей бедных дворян и служилых людей. Такое училище (из него впоследствии вышел Московский кадетский корпус) действительно было им открыто в 1778 году, 24 ноября, в день именин государыни. Обставил его Зорич с роскошью необычайной. Имелись при училище и манеж, и большой зоологический музей, и библиотека, купленная у Самойлова за баснословно высокую цену – восемь тысяч рублей, и даже картинная галерея с произведениями Рубенса, Теньера, Веронеза. Главным своим помощником по управлению училищем Зорич пригласил француза де Сальморона; преподаватели тоже были больше иностранцы. Училище скоро приобрело немалую славу. В ту пору, когда у Зорича были деньги, он ничего не жалел для своих питомцев. Если же Семен Гаврилович проигрывался в карты, то воспитанники сидели без сластей и карманных денег, а воспитатели без жалованья. Но ни те, ни другие на графа не сердились. Этот беспутный человек был так красив собой и так обезоруживающе добр, что ему вообще прощались все грехи. Впрочем, обстоятельства его карьеры по тем временам чрезмерного осуждения и не вызывали.

Особенно пышно отпраздновал Семен Гаврилович школьный выпуск 1792 года. К тому времени было почти отстроено и раскинулось овальным полукругом, в шестьдесят сажен длины, на правом, возвышенном берегу Днепра новое трехэтажное каменное здание училища. Нота Ноткин, министр финансов Зорича, раздобыл для графа большую сумму денег, и воспитанникам была сшита новая, парадная обмундировка. На огромном школьном дворе, где по средам и субботам производилась военная экзерсция, выстроились все четыре эскадрона училища: кирасиры в палевых колетах, гусары в светло-голубых мундирах, гренадеры в темно-синих и егеря в светло-зеленых куртках. Красиво развевались знамена с рисованными по атласу значками шкловского графства; а в момент появления на фронте Зорича был даже троекратно произведен залп из четырех двухфунтовых единоголовов. Многочисленные гости, съехавшиеся на праздник со всей округи, были в восхищении. Больше всех сиял сам Семен Гаврилович Зорич.

В числе воспитанников выпуска 1792 года был один, которого граф особенно любил и на которого возлагал большие надежды. Звали этого молодого человека Штааль. Происхождения он был не русского, темного, как сам Зорич, и подобно Зоричу отличался редкой красотой.

Граф Семен Гаврилович очень желал устроить своему любимому питомцу самое блестящее будущее. Как-то раз ему пришел в голову странный проект. Раздумывая над вопросом о наиболее счастливой участи, могущей выпасть на долю Штааля, он, естественно, сделал вывод, который подсказывался всем опытом его собственной жизни: самая счастливая и блестящая судьба ждала бы молодого человека в том случае, если б ему удалось стать фаворитом императрицы Екатерины.

Мыслей у графа Семена Зорича было не так много, и он ими поэтому особенно дорожил: его долг, его обязанность с той поры представились ему совершенно ясными: они заключались в том, чтобы оказать Штаалю услугу, которую когда-то Потемкин оказал ему самому. К тому же он, Зорич, мог бы в случае успеха сделаться хозяином Российской империи – в качестве наставника и руководителя фаворита государыни – и уж тогда наверное получил бы княжеский титул.

Зорич благодаря своим петербургским и саркосельским связям был в курсе всех придворных дел и интриг. По старому знакомству почт-директор Пестель доставлял ему даже копии наиболее занимательных писем, перлюстрировавшихся в черном кабинете. Эти копии, на листах сероватой золотообрезной бумаги с водяным знаком, изображавшим льва, рыцаря и девиз *pro patria*<sup>15</sup>, были очень полезны Зоричу. Общая картина придворных отношений оказывалась довольно благоприятной: некоторые влиятельные лица, которые были в дурных отношениях с Зубовым, охотно поддерживали бы всякую кандидатуру, идущую на смену надменному мальчишке. Семен Гаврилович послал с верной оказией несколько запросов сведущим людям в Петербург. Ответы получились тоже благоприятные.

---

<sup>15</sup> За родину (лат.).



## 2

Нелегко разобрать путаницу в голове и в душе молодого человека восемнадцати лет, особенно если этот молодой человек неглуп, горд, самолюбив и не находит удовлетворения гордости и самолюбию в той обстановке, которая обыкновенно окружает молодых людей, выходящих из детского возраста. Свобода близка, но ее еще нет – и близость свободы лишь пьянит и туманит душу. Выбор будущего еще не сделан, а сделать его надо – и не когда-нибудь, а сейчас, и не на срок, а навсегда.

В эти счастливые и мучительные годы ясно лишь очень немногое. Вполне ясно то, что жизнь текущего дня не есть настоящая жизнь: она так, она временна, она скоро пройдет. Настоящая, новая, совсем не такая, как теперь, не будничная, а необыкновенная и прекрасная или хотя несчастная, но трагическая жизнь – вся впереди. Неизвестно только, придет ли она сама собой или нужно что-то делать для ее приближения; и если нужно, то что же именно?.. Эта вера в какую-то новую, другую, жизнь, заполняющая всю душу очень молодых людей и со всем их мирящая, держится, понемногу уменьшаясь, довольно долго. У большинства она исчезает к концу третьего десятка. Но есть счастливые люди, доживающие с такой верой до старости и сходящие с ней в могилу.

Подавленный величием роли, которая, несомненно, должна выпасть на его долю в жизни, и вместе с тем смущенный крайней неуверенностью насчет того, какова, собственно, будет эта роль, молодой Юлий Штааль кончал курс в училище графа Зорича.

Его свобода была не за горами. И с ней, конечно, должны были открыться бесконечные возможности необыкновенной жизни: он, Штааль, не мог быть таким, как все, ибо быть таким, как все, – пошло и ужасно. В военном училище, однако, очень трудно жить по-своему, да еще необыкновенной жизнью. Кое-кто из товарищей Штааля проявлял свою личность в кутежах. Но это была проторенная дорожка. Вдобавок и начальство не баловало за кутежи, и денег для них у Штааля не было. А главное – уж очень эти шкловские кутежи были не похожи на то, что рассказывалось во французских книгах о похождениях герцога Лозена или герцога Ларошфуко. И местные дамы, которые иногда, по воскресеньям, в величайшем секрете от воспитателей, привлекались к участию в кутежах, тоже мало походили на Нинон де Ланкло и на Диану де Пуатье.

Временно, в ожидании лучшего, Юлий Штааль избрал для себя стиль кабинетной науки и проводил почти все свободное время в школьной библиотеке, в которой имелось много русских, французских и немецких томов всевозможного содержания. Ко времени выпуска своего из училища он прочел большую часть этих книг, вследствие чего туман в его голове сделался почти беспросветным.

Мосье Дюкро, учитель-француз, очень благосклонно относившийся к Штаалю, разъяснил ему секрет подлинного знания. Истина, вся истина, таким огромным трудом приобретенная, политая кровью благороднейших людей мира, горевшая на костре с Джордано Бруно, подвергавшаяся пытке с Галилеем, стала наконец достоянием мыслящего человечества, несмотря на происки тиранов, глупцов и монахов. Мосье Дюкро благоговейно снял с полки библиотеки огромную толстую книгу в красном сафьянном переплете с золотым тиснением и обрезом. У книги этой, в которой содержалась истина, было очень длинное заглавие. Она называлась: «*Encyclopedic ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers, par une Societe de gens de lettres. Mis en ordre et publie par M. Diderot, de l'Academie Royale des sciences et des Belles-Lettres de Prusse; et quant a la Partie Mathematique, par M. D'Alembert, de l'Academie Royale de sciences de Paris, de celle de Prusse, et de la Societe Royale de Londres*»<sup>16</sup>. Издана была книга в

<sup>16</sup> «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел, подготовленная обществом литераторов. Составлена

Париже, в 1751 году, у Бриассона, Давида-старшего, Ле Бретона и Дюрана, «avec approbation et privilege du Roy»<sup>17</sup>, – мосье Дюкро многозначительно улыбнулся, читая последние слова. На первой странице красовалась виньетка, изображавшая какого-то ангела, обвеянного клубами дыма и шагающего босыми ногами по глобусам, картам, книгам, оружию и чему-то еще. Имелся и эпитаф из Горация: «Tantum series juncturaque pollet, tantum de medio sumptis accedit honoris»<sup>18</sup>. Штааль было очень совестно, что, плохо зная по-латыни, он не разобрал смысла этого эпитафа.

Мосье Дюкро объяснил своему ученику, что в «Энциклопедии», считая с дополнениями, есть почти три десятка таких толстых книг. Зато стоит изучить их как следует, – и тогда раз навсегда освобождаешься от всех предрассудков, порожденных вековым невежеством и черным фанатизмом.

Штааль с благоговением прочел длинное предисловие Даламбера. Он многого не понимал, но мосье Дюкро помогал ему разъяснениями, а один отрывок прочел даже сам вслух, с чувством и чрезвычайно выразительно: «Car tout a des revolutions reglees, et l'obscurite se terminera par un nouveau siecle de lumiere. Nous serons plus frappees du grand jour, apres avoir ete quelque temps dans les tenebres. Elles seront com-me une espece d'anarchie tres funeste par elle-meme, mais quelque-fois utile par les suites»<sup>19</sup>. По интонациям мосье Дюкро Штааль понял, что в этом отрывке заключается сокровенный смысл «Энциклопедии». Он попробовал читать и дальше предисловия: прочел длинную статью о букве А, затем об Аа, s. r., riviere de France, Ab, s. m., onzieme mois de l'annee civile des Hebreux<sup>20</sup> – и несколько остыл, – не почувствовал освобождающего влияния великой книги: ни с буквой А, ни с Аа, s. r., ни с Ab., s. m. у него не связывалось предрассудков, порожденных невежеством и фанатизмом. Штааль со вздохом отложил в сторону томы «Энциклопедии», придя к выводу, что трудно научиться мудрости из словаря, хотя бы самого замечательного, и принялся читать книги без руководства и без разбора. Прочел «Systeme de la Nature», заглянул в «Dictionnaire Philosophique», одолел «L'homme machine». Одновременно прочел также и «Naturgesetzmässige Untersuchung des Nichts»<sup>21</sup> некоего Георга фон Лангенгейма, и ряд изданий московской типографической компании, и «Древнюю Российскую Вивлиофику», и «Скифскую историю из разных иностранных историков, паче же из Российских верных историй и повестей», и «Ноши» Юнга, и даже старые номера «Покоящегося трудолюбца». Попадались ему в библиотеке и книги другого содержания. Проглотил он одним духом только что получивший мировое распространение роман Бернардена де Сен-Пьера, – был немного влюблен в Виргинию, чуть-чуть ревновал ее к Павлу и едва поверил ушам, когда услышал от мосье Дюкро, что автор этой книги – известный авантюрист, если не мошенник. А затем ему попало в руки «Модное ежемесячное сочинение, или Библиотека для дамского туалета» с гравюрами: «А ля белль пуль»<sup>22</sup>, «Раскрытые прелести», «Расцветающая приятность» и «Прелестная простота». Прочел Штааль и «Исповедь» Руссо, но в ней он многого не понял, а из того, что он понял, кое-что показалось ему противным, и он не мог постигнуть, каким

---

и издана г. Дидро, членом Королевской академии наук и Академии изящной словесности Пруссии; раздел математический написан г. Даламбером, членом Парижской Королевской академии наук к таковой же Прусской, а также Лондонского Королевского общества» (франц.).

<sup>17</sup> С разрешения и по праву, полученному от короля (франц.).

<sup>18</sup> «Великую силу и важность можно и скромным словам придать расстановкой и связью» (лат., перевод М. Гаспарова).

<sup>19</sup> «Ибо все имеет свои регулярные перевороты, и мрак рассеется при наступлении нового просвещенного века. Проведя некоторое время в ночной темноте, мы потом будем более поражены ярким светом дня. Эти революции будут вроде анархии, чрезвычайно губительной самой по себе, но иногда полезной по своим следствиям» (сб.: Родоначальники позитивизма. Вып. 1. Перевод И. А. Шапиро. СПб., 1910).

<sup>20</sup> «Аа, ж. р., – река во Франции; Аб [или Ав], м. р., – одиннадцатый месяц еврейского гражданского календаря» (франц.).

<sup>21</sup> «Система природы», «Философский словарь», «Механический человек», «Сообразные с природой исследования небытия» (франц., нем.).

<sup>22</sup> «У красотки» (франц. – a la belle poule).

образом этот порочный человек почитался миром в качестве мудреца и учителя добродетели. Путаница в голове молодого человека становилась все гуще. Но он не терял надежды найти несколько позднее такую собственную философскую точку зрения, которая примирит Новикова с Вольтером и «Naturgesetzmässige Untersuchung» с «Systeme de la Nature».

Самое сильное впечатление произвело на него одно сочинение неизвестного автора, только что присланное в библиотеку училища книжной лавкой Зотова и называвшееся «Путешествие из Петербурга в Москву». Штааль с волнением читал вслух отрывок, который начинался словами: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека происходят от человека...»

Эта книга дала направление его мыслям. Еще до ее выхода в свет в училище стало известно, что во Франции происходят великие события. Первые слухи о французской революции были встречены в Шклове восторженно и воспитанниками, и учителями, и даже самим Семеном Гавриловичем Зоричем, которому тоже почему-то очень понравилось, что французские депутаты о чем-то присягали в *Jeu de Paume*<sup>23</sup>, и как-то там при этом, кажется, играла музыка, и вообще все, как всегда в Версале, было очень весело и благородно. Однако вскоре было получено известие о взятии Бастилии; в правительственной газете появилась об этом событии громовая статья, авторство которой приписывали самой императрице. Революционный пыл Зорича утих; он даже запретил давать воспитанникам иностранные газеты. Но они тем не менее узнавали кое-что о происходившем во Франции от учителей. Мосье Дюкро становился все мрачнее и сосредоточеннее: был сух с Зоричем, холодно кланялся начальству, раз даже вовсе не поклонился местному полицеймейстеру и все грозил, что скоро уедет совсем во Францию. От него Штааль узнал имена и краткие характеристики главных революционных героев; по примеру мосье Дюкро он последовательно увлекался Лафайетом, Балли, Мирабо. Однажды, в минуту откровенности, заговорив с Штаалем наедине об императрице Екатерине, мосье Дюкро потряс кулаками в воздухе и произнес несколько слов, которые восемнадцатилетний Штааль не совсем понял, хотя хорошо владел французским языком. Он попросил объяснений, но мосье Дюкро поспешно замолчал, оглянулся на дверь и перевел разговор на другой предмет. Штааль понял только, что мосье Дюкро не любил императрицу. Это очень его огорчило, ибо сам он, как все его сверстники, боготворил заочно Екатерину II и едва ли не был влюблен в ее портрет, висевший в кабинете графа Семена Гавриловича. Позднее, тоже в минуту откровенности, мосье Дюкро сказал, что его положение в России становится очень тяжелым, ибо между Францией и Европой может ежеминутно вспыхнуть война, как этого домогаются проклятые кобленцские эмигранты. Он объяснил Штаалю, что во Франции образовалась большая партия бриссотинцев, или, как их еще называют, жирондистов, которая хочет объявить войну всем тиранам. Во главе этой партии стоит Верньо, величайший оратор в мире после смерти Мирабо и совершенно изумительный человек. При этом глаза у мосье Дюкро заблестали и голос его задрожал. Штааль сразу почувствовал горячую любовь к бриссотинцам и особенно к Верньо; но вместе с тем был несколько смущен. Неужели великая просвещенная Екатерина, друг и покровительница Вольтера и Дидро, тоже принадлежит к числу тиранов? И если между Францией и Россией вспыхнет война, то как же тогда быть, – что делать ему, Штаалю, и кому желать победы? Воевать с тиранами против страны философов, революции и мосье Дюкро было очевидно невозможно. Но, как русский патриот и верноподданный великой Екатерины, Штааль, естественно, считал себя обязанным в первый же день по объявлении войны выпросить у Зорича разрешение записаться в волонтеры. К тому же можно было думать (приняв во внимание преклонный возраст и дряхлость Румянцева), что в случае объявления войны сам Суворов станет во главе русской армии; а Штааль боготворил Суворова.

<sup>23</sup> Зал для игры в мяч (франц.).

Мосье Дюкро привел в исполнение свою угрозу и в 1792 году, таинственно покинув училище, уехал к себе на мятежную родину. После его отъезда Штаалю стало особенно тоскливо. Училище ему надоело смертельно. В свои восемнадцать лет он еще ничего не сделал замечательного и очень боялся опоздать. Правда, Зорич обещал послать его немедленно после выпуска на службу в Петербург и при этом неопределенно говорил, что ему, Штаалю, с его умом и молодостью, стыдно было бы не сделать блестящей карьеры. Штааль очень хотел сделать блестящую карьеру и всей душой жаждал окончания курса.

Как-то раз, перед самым выпуском, он вечером зашел в библиотеку и по привычке, почти машинально, взял с полки первое, что попало под руку. Это была крошечная книжка, написанная Байе: «*La vie de M. Des-Cartes contenant l'histoire de sa philosophic et de ses autres ouvrages. Et aussi ce qui luy est arrive de plus remarquable pendant le cours de sa vie. A Paris, chez la veuve Cramoysi, 1693, avec privilege du Roy*»<sup>24</sup>. Штааль почти ничего не знал о Декарте, кроме похвал, расточенных ему в предисловии Даламбера к «Энциклопедии». Знал, впрочем, что Декарт – великий философ, который сказал «*cogito ergo sum*»<sup>25</sup>, – и что фраза эта знаменита своим глубокомыслием на весь мир (Штааль не совсем понимал – почему). Он с зевком принялся читать – и прочел книжку одним духом: такой волшебной и вместе близкой и бесконечно важной для него самой показалась ему биография философа Декарта.

Наука, тоска, свет, кутежи, игра, войны, путешествия, приключения, розенкрейцеры, – и затем снова наука, гениальные открытия, глубокие вдохновенные мысли... Так вот что такое жизнь, вот что такое мудрость!

Штааль взволнованно отыскал в библиотеке сочинения самого Декарта. Он открыл «*Discours de la Methode*»<sup>26</sup> и через минуту был во власти чар этой единственной в мире книги. А на месте рассказа, где старый мудрец описывает свой выход из школы и погружение в «великую книгу мира», слезы волнения и счастья брызнули из глаз восемнадцатилетнего Штааля.

«*C'est pourquoi sitost que l'aage me permit de sortir de la sujétion de mes Precepteurs, je quittay entierement l'estude des lettres. Et me resolvant de ne chercher plus d'autre science, que celle qui se pourrait trouver en moy mesme, ou bien dans le grand livre du monde, j'employay le reste de ma jeunesse a voyager, a voir des cours et des armées, a frequenter des gens de diverses humeurs et conditions, a recueillir diverses experiences, a m'essayer moy mesme dans les rencontres que la fortune me proposoit, et partout a faire telle reflexion sur les choses qui se presentoient que j'en puisse tirer quelque profit... Et j'avois toujours un extreme desir d'apprendre a distinguer le vray d'avec le faux, pour voir clair en mes actions, et marcher avec assurance dans cette vie*»<sup>27</sup>.

Эти слова открыли Штаалю значение его собственной жизни, указав ему новый путь. Он твердо решил последовать по стопам Декарта: нужно сначала увидеть мир и людей, испытать все, пройти через все, – а потом смысл придет сам собою...

В начале января 1793 года, блестяще окончив училище, молодой человек отправился в Петербург, щедро снабженный Зоричем деньгами и рекомендательными письмами. Граф Семен Гаврилович не дал Штаалю точных указаний относительно предстоявшей ему карьеры. Он говорил неопределенно о блеске петербургского двора, о величии матушки-императрицы,

<sup>24</sup> «Жизнь г. Декарта, содержащая историю его философии и его другие труды. А также все, что произошло примечательного в течение его жизни. [Напечатано] в Париже, у вдовы Крамуази, 1693, по праву, полученному от короля» (франц.).

<sup>25</sup> «Я мыслю, следовательно, я существую» (лат.).

<sup>26</sup> «Рассуждение о методе» (франц.).

<sup>27</sup> «Вот почему, как только возраст позволил мне выйти из подчинения моим наставникам, я совсем оставил книжные занятия и решился искать только ту науку, которую мог обрести в самом себе или же в великой книге мира, и употребил остаток моей юности на то, чтобы путешествовать, увидеть дворы и армии, встречаться с людьми разных нравов и положений и собрать разнообразный опыт, испытать себя во встречах, которые пошлет судьба, и повсюду поразмыслить над встречающимися предметами так, чтобы извлечь какую-нибудь пользу из таких занятий... Я же всегда имел величайшее желание выучиться различать истинное от ложного, чтобы отчетливее разбираться в своих действиях и уверенно двигаться в этой жизни» (Р. Декарт. Рассуждение о методе. Перевод Г. Г. Слюсарева. М. – Л., 1953).

об ее славе и красоте – и все по-прежнему подчеркивал, что ждет от своего юного питомца сказочных успехов, на которые дают несомненные права его ум, способности и разные другие достоинства.

## 3

Полвека прошло с той поры, как Фридрих II, желая насолить саксонскому двору, который рассчитывал выдать свою принцессу Марию-Анну за наследника русского престола Петра-Карла-Ульриха Гольштейнского, внезапно ставшего великим князем Петром Федоровичем, принялся спешно подыскивать для великого князя другую невесту. Были у прусского короля для этой цели на примете три немецкие принцессы: две гессен-дармштадтские и одна цербстская. Последняя наиболее подходила по возрасту, но уж очень заурядной представлялась эта побочная цербст-дорнбургская линия одной из восьми ветвей ангальтского дома, нищая и захудалая даже среди нищих и захудалых немецких князьков. О самой пятнадцатилетней невесте Фридрих ничего не знал. Говорили только, что мать ее, Иоганна-Елизавета, вела очень легкомысленный образ жизни и что вряд ли маленькая Фике действительно дочь цербстского князя Христиана-Августа, занимавшего должность губернатора в Штетине.

После непродолжительных колебаний выбор русского двора остановился именно на принцессе Фике. Императрица Елизавета, дочь Петра Великого, в память своей умершей сестры Анны, вышедшей замуж за герцога Гольштейнского, избрала для племянника невестой цербстскую принцессу, бывшую в родстве с гольштейнским домом. Но еще задолго до окончательного решения, зимой 1742 года, в крошечный Цербст неожиданно-негаданно пришла следующая грамота:

«Светлейшая княгиня, дружелюбно-любезная племянница.

Вашей любви писание от 27 минувшего декабря и содержанные в оном доброжелательные поздравления мне не иначе, как приятны быть могут. Понеже ваша любовь портрет моей в Бозе усопшей государыни сестры герцогини Гольштейнской, которой портрет бывший здесь в прежние времена королевской Пруссии министр барон Мардефельд писал, у себя имеет; того ради мне особливая угодность показана будет, ежели Ваша любовь мне оной, яко иного хорошего такого портрета здесь не находится, уступить и ко мне прислать изволите; я сию угодность во всяких случаях взаимствовать сходна буду.

Вашей любви дружелюбно охотная

*Елисавет».*

Фике, будущая императрица Екатерина II, живо помнила, как собрались в гостиной их квартиры вся семья и ближайшие друзья дома: баронесса фон Принцен, пастор Дове, der dumme<sup>28</sup> Вагнер и другие; как переводчик, долго ломая голову над каждой фразой, взволнованно-радостно переводил письмо русской царицы; как все жадно ловили его слова, переспрашивая по десяти раз и требуя ежеминутно пояснения смысла, которых он, очевидно, дать не мог. Сама четырнадцатилетняя Фике не совсем понимала причину общего радостного возбуждения, хотя и видела, что письмо имеет какое-то очень важное отношение именно к ней. Когда же все фразы письма были разобраны и наскоро прокомментированы (их потом комментировали ежедневно в течение долгих месяцев), пылкая Иоганна-Елизавета бросилась дочери на шею и, закатив глаза, взволнованно зашептала:

— Фикхен! Молись Богу!

Фикхен была этим очень довольна: мать вообще не баловала ее ласками и нещадно коло-тила за каждую провинность.

<sup>28</sup> Глупый (нем.).

Портрет Анны Петровны был, разумеется, немедленно отправлен царице. Вскоре после того онкель Август повез в Петербург и портрет самой Фике, очень скверно написанный живописцем Антуаном Пэном. А еще несколько позже пришло от их друга Брюммера, воспитателя великого князя, другое письмо – уже на немецком языке, – приглашавшее от имени царицы Иоганну-Елизавету с дочерью прибыть немедленно в Россию.

«Ваша Светлость, – писал многозначительно Брюммер, – слишком просвещенны, чтобы не понять истинного смысла того нетерпения, с которым Ее Императорское Величество желает скорее увидеть здесь Вас, равно как и принцессу Вашу дочь, о которой молва сообщила нам так много хорошего. Бывают случаи, когда глас народа есть именно глас Божий.

В то же время, наша несравненная монархиня мне указала предварить Вашу Светлость, чтобы принц супруг Ваш не приезжал вместе с Вами; Ее Императорское Величество имеет весьма уважительные причины желать этого. Полагаю, Вашей Светлости достаточно одного слова, чтобы воля нашей божественной государыни была исполнена.

Чтобы Ваша Светлость не были ничем затруднены, чтобы Вы могли сделать несколько платьев для себя и для принцессы Вашей дочери и могли, не теряя времени, предпринять путешествие, имею честь приложить к настоящему письму вексель, по которому Вы получите деньги немедленно по предъявлении... Осмеливаюсь ручаться Вашей Светлости, что по благополучном прибытии сюда Вы не будете уже нуждаться ни в чем. Ваша Светлость найдет здесь покровительницу, которая позаботится обо всем, что Вам необходимо, чтобы достойным образом появиться в обществе. Приняты такие меры, что Ваша Светлость останетесь вполне довольны».

В тот же день было получено в Цербсте и письмо от Фридриха II. Прусский король, сообщая со своей стороны радостное известие, настойчиво советовал ехать и держать поездку в строгом секрете (чтобы, Боже упаси, не узнали раньше времени саксонцы и граф Чернышев).

Но торопить Иоганну-Елизавету не требовалось. Через несколько дней вся цербстская семья примчалась в Берлин. Фридрих был очень ласков, потрепал Фикхен по щеке, радостно представляя себе, как будут расстроены этим браком саксонцы и Бестужев-Рюмин, – и благословил принцесс в долгий путь.

Затем Фике навсегда простилась с отцом, от которого получила при этом случае пространное письменное напутствие. На языке, считавшемся в ту пору немецким, ангальт-цербстский принц рекомендовал дочери: «Nicht in familiarite oder badinage zu entriren, sondern allezeit einigen egard sich moeglichst conservieren... In keine Regierungssachen zu entriren um den Senat nicht aignren...»<sup>29</sup> Советовал также беречь деньги, проверять счета прислуги и ни в коем случае не играть в карты. Читая отцовское наставление, Фикхен плакала горькими слезами. Затем она выехала с матерью в Россию, останавливаясь для ночевки на постоялых дворах.

По дороге Иоганна-Елизавета занимала Фике рассказами о России. Но она сама почти ничего не знала об этой стране, кроме разных анекдотов о великом Петере. Император Петр I любил немцев, и немцы тоже его любили. По Германии ходили всякие рассказы о московском царе, который был на две головы выше среднего человеческого роста, работал и пил вдвое больше, чем обыкновенные люди, и в один присест съедал целого гуся. При этом воображение немцев поражал не столько аппетит русского монарха – по аппетиту многие из них ему никак не уступили бы, – сколько то обстоятельство, что один человек, хотя бы и кайзер, позволял себе потреблять сразу такое количество дорогого гензебротена. Несколько шокировали немцев привычки московского царя. Он бражничал с моряками, легко перепивал их и на голландско-немецком языке горько жаловался на судьбу, которая поставила его царем над этаким темной страной. «Народ хитрый, умный, – угрюмо говорил он, – русский мужик по уму трех

<sup>29</sup> «Не впадать в фамильярность или шутовство, но всегда по мере возможности сохранять обходительность... Не вникать ни в какие дела правления, чтобы не раздражать Сенат...» (нем., франц.)

жидов стоит. Да учиться, подлецы, не хотят!...» Рассказывали также с некоторым ужасом, что в Виттенберге, когда Петру показали палату, где Мартин Лютер бросил в дьявола чернильницей, царь внимательно осмотрел оставшееся на стене от этого чудесного случая пятно, а затем сердито написал в книжке, предназначенной для почетных гостей: «Чернила новые и совершенно сие неправда».

Иногда между рассказами о странном московском царе Иоганна-Елизавета наставительно говорила дочери о том, какое счастье выпадет ей на долю, если удастся обворовать великого князя и благополучно довести дело до конца. Фике внимательно ее слушала и всей душой была рада стать царицей, *Kaiserin*. Правда, ей не очень улыбалось выйти замуж за шестнадцатилетнего мальчишку; но, когда она дала понять это матери, та назвала ее глупенькой девочкой и намекнула, что у монархинь есть, правда, великие, священные обязанности, но есть и такие права, которых не имеют обыкновенные замужние дамы.

Настоящее свое счастье Фике стала понимать только тогда, когда их скромный экипаж подошел к русской границе. Под Ригой принцесс встретили камергер Семен Кириллович Нарышкин, князь Долгоруков, генерал-аншеф Салтыков, кирасиры полка великого князя, преображенцы, измайловцы, представители дворянства и магистрата. Там же их ждали первые подарки царицы – великолепные собольи шубы, крытые парчой. Иоганна-Елизавета вскрикнула: «*Wunderschoen! Aber wunderschoen!*»<sup>30</sup> и объявила во всеуслышанье, что хотя ее удивить очень трудно, ибо ей в Гамбурге у мамы приходилось видеть самые дорогие меха, но ничего подобного этим шубам она все-таки никогда не видела.

В Риге принцессы пересели из своего возка в императорские сани, длинные, с кузовом, обшитые изнутри собольями, выложенные шелковыми матрасами, запряженные десятью лошадьми, по две в ряд. На передке саней сел камергер Нарышкин. Это был такой важный и осанистый человек, и одет он был так богато, и кричал он на прислугу таким страшным голосом, что Фике при первой встрече уже было собралась поцеловать ему руку, как ей полагалось делать с почетными гостями в Цербсте и Штетине. Но мать толкнула ее в бок – и она вспомнила, что Нарышкин станет, быть может, ее подданным.

Свита принцесс разместилась во множестве других саней, эскадрон кирасир великого князя выстроился вокруг поезда, и поезд понесся в Петербург. Эта поездка осталась в воспоминании Фике как длинный чудесный сон. Все было здесь не похоже на ее родину: необычайный простор земли; роскошь высокопоставленных людей; странные, неправильные, азиатские черты лица попадавшихся прохожих; непривычная развалистая походка пешеходов; а главное – необычайный размах, ширь во всем, раздолье, о котором у них никто не имел понятия. Она все больше и лучше понимала, какое неслыханное, небывалое счастье сваливается ей на голову, и странные, честолюбивые мысли впервые пришли пятнадцатилетней девочке...

Успела она также в дороге обратить внимание на всех сопровождавших ее мужчин – от высших лиц свиты до простых кирасир, – причем быстро отметила и выделила красивых. Видавший вид камергер Нарышкин искоса поглядывал на девочку, на ее неправильные черты, на голубые глаза, оттененные черными ресницами, на пухлый рот и выдающийся подбородок, и думал про себя, что из маленькой немки будет толк.

Неслыханные почести ждали принцесс ангальт-цербстских в Петербурге, а затем в Москве, где тогда временно находился двор. Императрица и великий князь приняли их «*auf tendreste*»<sup>31</sup>. В день их приезда, вечером, в отведенные им апартаменты Головинского дворца торжественно явился старый друг Брюммер, воспитатель великого князя. Иоганна-Елизавета и Фике сразу заметили, что *der alte Kerl*<sup>32</sup> строго выдерживает новый тон. Россию он называл

<sup>30</sup> «Чудесно, просто чудесно!» (нем.)

<sup>31</sup> Самым любезным образом (нем.).

<sup>32</sup> Старик (нем.).



«нашим славным отечеством», а императрицу Елизавету «нашей великой государыней». Приняв во внимание, что подданным императрицы и русским человеком Брюммер сделался два года тому назад, Фике порешила, что она еще скорее станет русской женщиной и великой княгиней. Брюммер много рассказывал о великолепии петербургского двора, ни в чем не уступающего версальскому; о размерах русских дворцов; а также о мудрости, доброте и добродетели императрицы Елизаветы, которая навсегда отменила в России смертную казнь, в чем поклялась на образе святого чудотворца Николая. Больше, однако, поразило немецких принцесс то, что у Елизаветы в гардеробе имеется пятнадцать тысяч платьев, пять тысяч пар башмаков и два сундука шелковых чулок. Как ни много удивительных вещей видели в последнее время принцессы в Петербурге и Москве, эти цифры совершенно поразили их воображение: сами они привезли из Германии по три платья и по одной дюжине белья. Нагнал на них робость и общий тон речи Брюммера. Впрочем, несколько позже, когда они робко вынули привезенные ими ему подарки: пять фунтов настоящей, непортящейся штетинской колбасы, две бутылки настоящего старого иоганнисбергера, шелковый кошелек и кисет для табаку, Брюммер расчувствовался, вспомнил Цербст, Штетин, Киль, госпожу Брандорф, старый Рейн, прослезился и перестал называть Россию «нашим славным отечеством». Они тут же втроем распили бутылку настоящего старого иоганнисбергера, закусили настоящей, непортящейся штетинской колбасой, после чего у Брюммера развязался язык и характер его сообщений стал несколько иной. Оказалось, что хотя в гардеробе Елизаветы есть пятнадцать тысяч платьев, но денег в русской казне нет, и, кроме как на содержание двора, да еще на армию, ничего ни на что расходовать нельзя. И хотя смертная казнь в России навсегда отменена, – согласно обычаю, по которому всякое новое русское правительство первым делом навсегда отменяет смертную казнь, – но языки и уши режут людям, часто большими партиями, что ни день. И хотя сама императрица образец монархии, но все-таки нехорошо, что она частенько напивается водкой до бесчувствия, как кильский извозчик. И хотя она дочь великого Петра, но мать ее была по профессии такое, что и сказать при барышне невозможно; а дядя, граф Федор Скавронский, еще совсем недавно был ямщиком, ein Kutscher! И хотя императрица ангел, но поведение ее... Правда, знатные дамы могут иногда позволять себе вольности – тут Брюммер подозрительно поглядел на Иоганну-Елизавету, – однако нужно знать, с кем можно их себе позволять и с кем нельзя. Против благородных риттеров он, Брюммер, не говорит ни слова, но путаться императрице, einer Kaiserin! с конюхом ist wirklich unerhoert!<sup>33</sup> Что касается нашего Карла-Ульриха, то это был шелковый мальчик в Киле, где он, Брюммер, держал его в руках и всего еще два года тому назад основательно порол за шалости; а с тех пор, как Карл-Ульрих стал в России великим князем Петром Федоровичем, к нему подступиться нельзя: совершенно испортился и, чего доброго, плохо кончит. А вообще, хотя Россия, конечно, великая страна, имеющая громадное будущее, но понять в ней и в этих москвичах решительно ничего нельзя. И если говорить правду – ему хорошо известна дискрецион<sup>34</sup> обеих принцесс, – то Цербст, не говоря уже о Киле, много лучше России. Вот только жалованья в Цербсте и в Киле, к сожалению, платят мало и никакой серьезной карьеры там сделать нельзя; а то и уезжать оттуда было бы совершенно не нужно.

<sup>33</sup> Воистину неслыханно! (нем.)

<sup>34</sup> Скромность (франц. discretion).

## 4

Все это было очень, очень давно. Пятнадцатилетняя девочка превратилась в старуху: Фикхен стала императрицей Екатериной Великой. Позади были кровавые вехи длинного пути, удачи, неудачи, страшные дни «Петербургского действия» и пугачевщина, очень было перепугавшая царицу.

Царствование ее было удачным. Как добросовестная немка, Екатерина старательно работала для страны, которая дала ей такую хорошую и выгодную должность. Счастье России она естественно видела в возможно большем расширении пределов русского государства. От природы она была умна и хитра. Нелегко доставшийся престол научил ее многому. Она прекрасно разбиралась в интригах европейской дипломатии. Хитрость и гибкость были основой того, что в Европе, смотря по обстоятельствам, называлось политикой Северной Семирамиды или преступлениями московской Мессалины.

Но, несмотря на огромный промежуток времени, отделявший старую государыню от немецкого периода ее жизни, несмотря на то что в течение тридцати с лишним лет она была самодержавной царицей России, цербстское прошлое в значительной мере определяло мысли и чувства Екатерины. Какие успехи ни выпадали на ее долю, как ни привыкла она ко всеобщей, безмерной лести, императрица все еще не могла совершенно оправиться в глубине души от того небывалого, случайного и сказочного счастья, которое выпало ей на долю. Екатерина прекрасно знала, что ни по каким законам не имеет ни малейших прав на императорский престол России. Тот, кто мог себя считать законным русским монархом, несчастный Иоанн Антонович, с двухлетнего возраста заключенный в тюрьму, был убит при попытке к побегу, а поручика Мировича, устроившего эту попытку, казнили с соизволения Екатерины. Следующий за Иоанном Антоновичем император Петр Федорович был низвергнут Екатериной и задушен в Ропшинском замке. После же смерти обоих императоров, Иоанна и Петра, законным наследником был сын Екатерины, великий князь Павел Петрович. Он был устранен ею вопреки смыслу и духу закона. Русский престол она, цербстская немка, занимала только благодаря захвату, осуществленному тридцать лет тому назад кучкой шальных гвардейских офицеров. Иногда Екатерина во сне с ужасом видела, как ее внезапно лишают трона и душат, либо заключают в монастырь, либо отправляют на родину, туда, в Цербст.

Она хорошо понимала, что может держаться на престоле, лишь всячески угождая дворянству и офицерам, – с тем, чтобы предотвратить или хотя уменьшить опасность нового дворцового заговора. Это Екатерина и делала. Вся ее внутренняя политика сводилась к тому, чтобы жизнь офицеров при ее дворе и в гвардейских частях была возможно более выгодной и приятной.

Екатерина по природе своей не была ни зла, ни жестока. Напротив, она была даже скорее добра и охотно благодетельствовала людям, если ей это ничего не стоило или стоило не очень дорого. Честолюбие ее, вполне женское, то есть совершенно отличное от мужского, сильно уменьшалось с годами. Екатерина не была и чрезмерно властолюбива: всю жизнь неизменно находилась под влиянием сменяющих друг друга фаворитов, которым с радостью уступала свою власть, вмешиваясь в их распоряжения страной только тогда, когда уж очень ясно они показывали свою неопытность, неспособность или глупость: она была умнее и опытнее в делах, чем все ее любовники, за исключением князя Потемкина.

В натуре Екатерины не было ничего чрезмерного, кроме странной смеси самой грубой и все усиливающейся с годами чувственности с чисто немецкой, практической сентиментальностью. В свои шестьдесят пять лет она как девочка влюблялась в двадцатилетних офицеров и искренне верила тому, что они также в нее влюблены. На седьмом десятке лет она плакала

горькими слезами, когда ей казалось, будто Платон Зубов был с ней сдержаннее, чем обычно.

## 5

Согласно инструкции, данной ему Зоричем, Штааль немедленно по приезде в Петербург явился к графу Александру Андреевичу Безбородко, одному из первых сановников столицы.

Безбородко был осведомлен о планах Зорича и очень им сочувствовал. Александру Андреевичу в последнее время не везло с фаворитами. Сильно невзлюбил его за что-то Мамонов, который из-за графа устроил было бурную сцену императрице – или, как мягко говорили в Эрмитаже, «двору»: Мамонов, подобно Потемкину, мало церемонился с Екатериной. Александр Андреевич, как умел, отбивался от нападков могущественного фаворита: пробовал даже в противовес Мамонову выставить своего племянника, красавца Милорадовича; но из этого дела ничего не вышло: Милорадович оказался слишком неловок. Правда, судьба ненадолго помогла графу: Мамонов неожиданно влюбился в княжну Щербатову и потерял свою должность при императрице. Но заместитель его, Платон Александрович Zubov, тоже не жаловал Безбородко и чинил ему всяческие неприятности. С фаворитами графу было бороться не под силу; главную свою надежду он возлагал на смену Zubova и на успех какой-либо благоприятной новой кандидатуры. Поэтому Александр Андреевич с особой симпатией отнесся к проекту Зорича.

Безбородко, еще не старый по возрасту человек, преждевременно одряхлел от развратной жизни. Хитрый и изворотливый по природе, он, по мнению строгих придворных, уже начинал сдавать, а, по мнению очень строгих, даже несколько выжил из ума, в чем их особенно убеждала развившаяся у министра неудержимая болтливость – обстоятельство, отнюдь не благоприятное для политической карьеры. Александр Андреевич еще занимал много очень важных должностей, но знатоки склонны были считать его песенку спетой, и около графа начинала образовываться та зловещая пустота, которая означает приближение конца всякой большой карьеры. Сам он, однако, не замечал этой пустоты или не желал ее замечать.

Совершенно ошеломленный Петербургом, Штааль вошел в большой, роскошно отделанный дом, где жил Безбородко, и вручил дежурному офицеру рекомендательные письма. Ждать министра ему пришлось в гостиной. Еще никогда Штаалю не приходилось видеть такой массы золота, как в этой комнате. Особенно его поразила стоявшая у стены огромная сверкающая горка, вышиной в шесть аршин, сплошь уставленная золотыми сосудами. Против горки висел в золотой раме портрет воина с чуприной, огромными усами самого рыцарски-запорожского вида и полуотрубленным подбородком. Воин этот чрезвычайно ласково и бойко улыбался оставшейся частью подбородка. Длинная, цветистая надпись на золотой доске под портретом свидетельствовала о том, что рыцаря звали Демьян Ксенжицкий, герба Ostoja, воеводства Остржетовского, и что он положил начало роду и прозвищу Безбородок. Через несколько минут в комнату, в сопровождении упитанного равнодушного мопса, вошел тучный, грузный человек, с отвисшим подбородком и полуоткрытым ртом, в синем ватном домашнем сюртуке, мягких туфлях с огромнейшими бриллиантовыми пряжками и в белых шелковых чулках, которые мешками висели на толстых ляжках ног. Внешность министра немного успокоила Штааля. Особенно же его почему-то успокоило то обстоятельство, что говорил граф по-русски с малороссийским акцентом.

В руках у министра было рекомендательное письмо Зорича. Содержание письма сильно озадачило Безбородко: Семен Гаврилович красноречиво, но смущенно писал, что юноша, которому он покровительствует, неопытен, бурь мира сего не изведal и еще не искушен в светской жизни; поэтому неудобно было сразу начисто объяснить ему интересующее их всех дело. Пусть он сначала освоится с Петербургом, подышит воздухом двора, побывает на приеме у матушки

царицы, – а там «Бог не оставит его милостью, а Ваше Сиятельство – помощью в диффикультах<sup>35</sup>».

Безбородко с недоумением, как на диковинку, смотрел на молодого человека, которому нельзя было объяснить напрямик, в чем дело.

«Ще молода дetyна», – подумал он, оглядев гостя с ног до головы, и взял горсточку табаку из золотой с бриллиантами табакерки.

Внешность юноши ему, однако, понравилась. Граф подтянул привычным движением руки мешки шелковых чулок и внимательно расспросил Штааля о видах на службу. Но ничего путного он не узнал: проклиная свою застенчивость, Штааль сбивчиво и неловко объяснил, что пока еще не выработал никаких предположений.

Александр Андреевич вздохнул и решил предоставить дело воле Божьей. Затем он прочел молодому человеку небольшое житейское наставление общего характера. Как все вышедшие из низов и достигшие высоких степеней люди, он любил говорить о себе. Говорил он хорошо, гладко и книжно, с весьма внушительными интонациями, которым, однако, сильно вредил его малороссийский говор. Да и с внушительных интонаций он порою неожиданным образом срывался.

– Служба наша, сударь, – сказал он, – приятна и видна, но не скоро полезна бывает. Представлять у двора приличную функции фигуру довольно надобно иждивения; где что шаг ступить, то и платить нужно. Про себя скажу: живу хорошо, стол держу на двадцать четыре куверта, а особливо для офицеров на ордонанс, да на секретарей. В Москве, государь мой, уготовляю себе на старость дом преогромный, для отдохновения от бремени трудов. Расходу множество, – добавил он, вздыхая и внезапно утратив важность интонаций, но сейчас же заговорил еще внушительнее прежнего. – В протчем не жалуюсь. Ее императорское величество ценит мое усердие и не оставляет поверенностью и предилекцией<sup>36</sup>. Для собственного вашего знания, сударь, скажу, дабы не причли сего в самозванство, что отзывами своими неоднократно всем знатным и приближенным изразить изволила свое отменное ко мне благоволение и уважение к трудам моим. И такое милостивое в рассуждении меня обращение есть величайшим для меня одобрением и утешением.

Здесь он вздохнул опять, понюхал табаку и посмотрел на Штааля, очевидно ожидая ответа. Но, не дождавшись, продолжал:

– Вот и теперь в Яссах, после искусных негоции, подписал я с турками мир превыгодный. Опять же злодеи мои меня марали, будто корыстовался я за подряды провиантские... Дело известное, отлучному человеку нельзя без забот, чтобы сплетни ему не повредили... Хороша была корысть-то в Яссах: отправили меня небогатою рукою. Ну, правда, подарки получались от Порты: бриллиантовый перстень, да табакерка, да часы – тысяч в тридцать станут, не более, – да лошадь, да палатка шитая (но весьма ветхая, – грустно вставил он, опять потеряв внушительность тона), да ковер салоникский, да кофею тридцать семь пудов, да еще бальзаму индийского и менского, табаку, мыла, губки, трубки, амбры и шалей двадцать четыре куска... Много ли радости? Чай, Зубов Платон за это время не такие подарки получил... Как на этот счет изволите думать, сударь? – значительно спросил он, в упор глядя на Штааля своими маленькими хитрыми глазками.

Штааль никак об этом не думал. Безбородко разочарованно опять осмотрел его с головы до ног, подтянул чулки и, помолчав с минуту, заговорил по-французски, правильно строя гладкие фразы, но выговаривая их с тем же малороссийским акцентом, который он сохранял во всех языках.

---

<sup>35</sup> Трудности (франц. *difficultes*).

<sup>36</sup> Расположение (франц. *predilection*).

«Уж если ты, хлопец, и по-французски не говоришь, так езжай себе, Грыцю, назад, в Шклов, гонять собак», – подумал он.

Но Штааль говорил по-французски прекрасно, и, услышав его выговор, Безбородко с удовольствием причмокнул полуоткрытым ртом. Граф сказал этому человеку, что устроит ему приглашение в Эрмитаж на средний прием в ближайший четверг, а пока советовал поосмотреться немного в Петербурге, поразвлечься, да что ж – беды в ваши лета нет – и покутить.

– Жить, государь мой, милости прошу у меня, – сказал он снова по-русски не допускающим возражений тоном. – Дом большой... А мы с Семен Гавриловичем старые приятели... Ох, порастрясли его гроши проклятые Зеновичи... Ну, да ничего, богат. Шкловское имение – золотое дно... Так, значит, мы и порешили. А чтоб скучно вам не было, я вам дам, сударь, компаньона: добрый хлопец и все вам покажет.

Безбородко велел позвать одного из состоящих при его особе секретарей, необыкновенно щегольски, по последней моде, одетого молодого человека, и поручил ему Штаалю, шепнув предварительно на ухо щеголю несколько слов, от чего тот весело улыбнулся. Штааль откланялся и направился было к выходу. Но Александр Андреевич воротил его от дверей.

– А что, сударь, Лизаньку Сандунову-Уранову видели? – неожиданно спросил он конфиденциальным тоном.

Штааль не знал, кто такая Лизанька Сандунова-Уранова. Безбородко посмотрел на него с большим сожалением, вздохнул и перевел глаза на секретаря, точно призывая его в свидетели.

Секретарь заговорил тоненьким голоском, с какими-то особенно мягкими, влезающими в душу, интонациями и, к удивлению Штаалю, довольно фамильярно:

– Да что Сандунова, ваше сиятельство? Право же, слава одна. Я думаю, ей до Ленушки далеко, ваше сиятельство...

Министр с удовольствием понюхал табаку и покачал головой:

– Нет, брат, ты не говори, – сказал он задумчиво. – Ленушка, конечно, отменных телесных качеств женщина... Это ты прав. А все же у Лизаньки Сандуновой груди такие, что и самой Давии не уступит... Ты обратил ли внимание на ее груди?

– Как не обратить, ваше сиятельство. Да и про груди, *ma foi*<sup>37</sup>, одна слава...

– Нет, нет, и не говори, брат. Что ты смыслишь в грудях-то?... Молодо, зелено...

Безбородко постоял в задумчивости минуту, открыв совершенно рот и приятно улыбаясь; затем, точно что-то вспомнив, повел заплывшей жиром шеей и внушительным тоном, книжной цветистой фразой отпустил молодых людей.

Секретарь Безбородко оказался очень любезным, бывалым и обходительным молодым человеком. Звали его Иванчук (свою фамилию он произнес Штаалю скороговоркой); говорил он вообще быстро, четко и гладко. Только французские фразы, пересыпавшие его речь, выходили у него совсем нехорошо. Выяснилось, что секретарь пользуется особым расположением и доверием графа Безбородко; министр, в знак милости и в исключение из своего общего правила, говорил ему даже «ты». Сам Иванчук называл графа в третьем лице «нет Сашенька» – и это несколько удивило Штаалю. Но из дальнейшего разговора оказалось, что молодой секретарь называет уменьшительными именами почти всех высших сановников столицы. Штааль был очень поражен такой короткой дружбой Иванчука с людьми, занимавшими первые посты в империи; сомнение взяло его только тогда, когда секретарь назвал Павликом наследника престола. Иванчук очень быстро сообщил Штаалю множество самых разнообразных сведений о себе и о других. Рассказал, что наш Сашенька находится теперь в упадке. В большом фаворе он, правда, никогда не был и любовником государыни состоял в свое время не больше недели (Штааль раскрыл рот от изумления; Иванчук посмотрел на него, сказал радостно: «как же, как

---

<sup>37</sup> Право (франц.).

же» – и продолжал свой рассказ). *Oui, il n'y a à dire*<sup>38</sup>, политическая карьера Сашеньки приходит, кажется, к концу. И это очень жаль, ибо Сашенька премилый человек, сыплет деньгами направо и налево и хоть жалуется на расходы, но на самом деле *il est riche comme un diable*, – богат как черт, – одной мебели с картинами и мрамором у него миллиона на четыре, как же, как же! Певце Давии он платил ежемесячно восемь тысяч рублей, а на прощанье подарил ей сразу пятьсот тысяч; теперь купает в золоте танцовщицу Ленушку. И жаль, очень жаль, та *parole du gentilhomme*<sup>39</sup>, что Сашенька не поладил с Платоном, ибо Платон теперь всемогущ, мы все против него ничего не значим. А Павлика, вероятно, государыня вовсе устранил от престола, и это будет прекрасно; она знает, что мы все будем этому очень рады. Общество же теперь в столице премилое: самые приятные балы у Лили Строгановой на Дворцовой набережной, – *je vais y vous introduire*<sup>40</sup>. Да еще Саша Белосельский устраивает чудесные небольшие вечеринки и стишки свои читает там премило. Он, кстати, женится на Козицкой и берет большое приданое. Одним словом, – как же, как же, – я вас со всеми перезнакомлю, увидите, все премилые ребята.

Иванчук действительно ввел Штааля в кружок веселящейся петербургской молодежи, состоявший большей частью из богатых, знатных и чиновных людей в возрасте от семнадцати до семидесяти лет. Доступ в этот кружок приобретался, по-видимому, очень легко. Правда, членов кружка, которых Иванчук за глаза называл ласково-уменьшительными именами, в разговоре с ними он почтительно титуловал «Ваше Сиятельство» или «Ваше Превосходительство», а сиятельства и превосходительства, как по всему было видно, едва ли знали его по фамилии. Но ездили с ним по ресторанам и ночным увеселительным местам очень охотно. В тот год была в большой моде петергофская дорога; несмотря на холодную зиму, группы веселящейся молодежи чуть не каждую ночь отправлялись кутить на загородные дачи. Самое приятное времяпровождение было на дачах обершенка Нарышкина, носивших странные названия «Ба-ба» и «Га-га»; там Штааль узнал много совершенно новых вещей, о которых ему не случалось читать даже во французских книжках. Было также большое празднество на Александровой даче под Павловском, где веселое общество любовалось достопримечательностями замысловатого сада. Особенно удивили Штааля «Храм Флоры и Помоны», «Пещера нимфы Эгерии» и всего больше «Храм Розы без шипов». На плафоне этого храма фрески изображали блаженствующую Россию. Блаженствующая Россия грациозно опиралась на щит с изображением Екатерины; по бокам красовались трубящая Слава и два ангела с крестом. В середине храма на алтаре стояла урна, заключавшая в себе Розу без шипов. Что означала Роза без шипов, оставалось несколько неясным, но, как по всему можно было догадаться, автор мудреной аллегии имел в виду опять-таки императрицу Екатерину. В храмах и в Пещере нимфы Эгерии время тоже проводилось довольно весело. Штаалю было немного совестно так жить, но он для успокоения напоминал самому себе заветы великого Декарта: познать все, погрузиться в великую книгу мира. Великая книга мира на этой петербургской главе понравилась молодому человеку. Лыстило Штаалю и то, что компаньонами его по ночным развлечениям были люди с очень громкими, большей частью титулованными именами. Под утро члены кружка обыкновенно отправлялись на маскарад к ресторатору Лиону, у которого собиралось чрезвычайно смешанное общество. Там они как-то, часов в пять утра, встретили Александра Андреевича Безбородко в обществе уличных женщин. Министр был очень навеселе; тем не менее узнал молодых людей, радостно погрозил Штаалю пальцем и сказал ему, подтягивая чулки, так же гладко и красноречиво, как всегда, более или менее подходившее к случаю цветистое слово.

<sup>38</sup> Да, ничего не скажешь (франц.).

<sup>39</sup> Слово дворянина (франц.).

<sup>40</sup> Я вас туда введу (франц.).

## 6

В честь приехавшего в Петербург московского главнокомандующего Прозоровского граф Безбородко решил устроить обед, пригласив в качестве второго гостя Федора Васильевича Ростопчина.

С этим обедом Александр Андреевич связывал довольно сложную политическую комбинацию. Знаменитый своей жестокостью, старый князь Прозоровский был послан Екатериной в Москву на усмирение масонов и мартинистов. Его назначение было встречено крайне неодобрительно умнейшими сановниками империи. Сам Потемкин, получив незадолго до своей кончины известие о посылке Прозоровского, с гневом писал императрице: «Ваше Императорское Величество выдвинули из вашего арсенала самую старинную пушку, которая будет непременно стрелять в вашу цель, потому что своей собственной не имеет, берегитесь только, чтобы она не запятнала кровию имя Вашего Величества в потомстве».

Не сочувствовал в глубине души деятельности князя Прозоровского и Безбородко. Его самого государыня посылала недавно в Москву с секретной миссией по делам о мартинистах, – и он там занял очень осторожную, выжидательную позицию. Однако Александр Андреевич давно усвоил себе привычку не критиковать вслух распоряжений верховной власти. Кроме того, Прозоровский свою миссию выполнил в Москве вполне успешно: масонство и мартинизм были искоренены, а Николай Иванович Новиков взят под стражу, привезен в Петербург и заключен, после допроса у Шешковского, в Шлиссельбургскую крепость. Граф Александр Андреевич имел обыкновение считаться с успехом. Он находил поэтому нужным несколько подогреть свои отношения с Прозоровским и с теми придворными кругами, которые выдвинули кандидатуру князя. Но было еще и нечто другое.

Безбородко знал, что московскому главнокомандующему была дана императрицей секретная инструкция выяснить путем розыска, находился ли в тайных сношениях с мартинистами великий князь Павел Петрович, которого в обществе считали масоном. Розыск, однако, не дал положительных результатов, хотя Прозоровский и доносил, что преступники всячески улавливали в свою секту «известную по их бумагам особу».

Вопрос о Павле Петровиче чрезвычайно тревожил Безбородко. Все хорошо знали, что наследник престола ненавидит свою мать и ждет не дождется ее смерти для того, чтобы расправиться по-своему с любовниками и любимцами императрицы. Александр Андреевич едва ли мог считаться любимцем, особенно в последнее время, но он сделал огромную карьеру при Екатерине, а потому имел основания серьезно тревожиться за свою судьбу в случае воцарения великого князя. Между тем государыне шел шестьдесят четвертый год... А в возможность устранения Павла Петровича от престола Александр Андреевич верил плохо.

Федор Васильевич Ростопчин, будущий московский главнокомандующий 1812 года, был любимцем наследника и имел все шансы сделаться в его царствование самым влиятельным человеком в империи. По этим соображениям Безбородко считал чрезвычайно полезным поддерживать с Ростопчиным добрые отношения. Он знал вдобавок, что Федор Васильевич уж никак не масон, не мартинист, не революционер и не жакобен, а человек вполне благонамеренный, хоть своенравный и сварливый. Интимный обед в доме Александра Андреевича должен был сблизить Ростопчина с Прозоровским, что, вероятно, несколько успокоило бы Екатерину насчет сношений Павла с мартинистами; а через Федора Васильевича граф надеялся – пошли Господь долгие дни ее величеству – поднять свои шансы при гатчинском дворе наследника престола.

Кроме двух почетных гостей на обеде были только свои: доверенные секретари, в том числе Иванчук, а заодно и Штааль, которого хозяин тоже считал нужным менажировать, ибо любил страховать и перестраховывать себя на случай всяких событий.



Обед – очень простой – удался на славу. Безбородко даже в Москве считался знаменитым хлебосолом, и приемы в его огромном московском доме соперничали в славе с обедами Алексея Орлова, князя Голицына и графа Остермана.

Александр Андреевич сам наливал водку в золотые рюмки. За обеденным столом в графе Безбородко политический деятель, министр и придворный уступали первое место хлебосольному барину, представлявшему даже не русское, а малороссийское гостеприимство, уж совершенно граничившее с чудесным. В деле угощения гостей Александр Андреевич не делал никакой разницы между Иванчуком и князем Прозоровским, с одинаковой любовью рекомендуя обоим разные простые и замысловатые закуски.

– У нас в Глухове поп говорил: «из легких вин прѣдпочытаю коньяк; оно и вкусно, и не хмѣльно», – сказал Безбородко. Он этой прибауткой к водке неизменно открывал всякий обед.

Князь Прозоровский, сухой старик, точно находившийся в быстром процессе застывания, слегка покривил лицо, что у него означало улыбку. Ростопчин снисходительно улыбнулся, подставляя под пахучую струю золотую рюмку, и хотел было сказать какое-либо, подходившее к случаю, народное великорусское словцо, но ничего не мог вспомнить.

Федор Васильевич Ростопчин, несмотря на свой молодой возраст, занимал в петербургском высшем свете особое и очень почетное положение. Человек большого ума, хорошо образованный, злой, остроумный, разьедаемый честолюбием, одновременно большим и мелким, по-актерски даровитый и по-актерски тщеславный, он не мог найти применения своим силам при дворе императрицы Екатерины: там имели успех люди либо красивее, либо покладистее, либо старше и заслуженнее, чем он. Кроме того, Ростопчин по характеру в любых политических условиях должен был бы принадлежать к оппозиции. Он не любил и не уважал Екатерину, и все дела ее царствования представлялись ему низкими или бессмысленными – даже тогда, когда они не были ни бессмысленны, ни низки. Но хотя по умственным своим силам, по своему безмерному честолюбию, по тому положению, которое он сумел себе создать в обществе, Федор Васильевич мог стать серьезным противником для власти, – эта роль не приходила ему в голову; оппозиция его была очень осторожной; людей же посмелее, чем он сам, он называл безумцами и всячески их высмеивал (как впоследствии высмеивал декабристов, хотя ненавидел и презирал Александра I). Ростопчин примкнул к партии Павла Петровича или, вернее, составлял эту партию. Он отлично знал, что наследник престола – человек душевно поврежденный; но связал с ним свою политическую карьеру в пику императрице и назло челяди Эрмитажа. Федор Васильевич всю свою жизнь прожил кому-то в пику и кому-то назло. Он и Москву поджег (или способствовал ее пожару) назло – отчасти назло Наполеону, а еще больше назло Кутузову. Когда Ростопчина впоследствии осыпали бранью за сожжение Москвы, он приписывал это дело всецело себе (без большой, впрочем, внутренней уверенности) и называл его величайшим подвигом, достойным героев Рима. Когда же «cet acte barbare mais magnifique»<sup>41</sup> стал вызывать восхищение у французов посленаполеоновского периода, Ростопчин печатно доказывал, что и не думал поджигать Москву. Вся жизнь его – бесплодная, одинокая и несчастная – была сплошное противоречие. Он был нежный семьянин, но отказался от родного сына и, несмотря на свое богатство (полученное им от Павла, который вознаграждал его за бескорыстие), позволил заключить молодого человека в долговую тюрьму. Он всей душой ненавидел Францию и французов, но прожил долгие годы в Париже, думал или старался думать по-французски и ни за что не написал бы письма на другом языке, кроме тщательно отделанного и отточенного французского. Он был англоман, но с англичанами скучал чрезвычайно, а в Англии не мог прожить более нескольких недель. Русский народ он презирал совершенно и весь был полон сословных дворянских предрассудков; но любил говорить на простонародном русском наречии и даже создал свое простонародное русское наречие, которого простой рус-

<sup>41</sup> «Этот варварский, но великолепный поступок» (франц.).

ский народ не понимал. Уверял, что равнодушен к жизни и нисколько не боится смерти, но постоянно разъезжал по водам, тщательно оберегая здоровье (болезнь ему была послана самая непоэтическая – геморрой, – и это очень его угнетало). Одаренный несомненным литературным талантом, тонкий наблюдатель событий и злой ценитель людей, он почти ничего не оставил после себя, но тщательно отделял разные французские афоризмы, относившиеся, главным образом, к его собственной личности, годами выдерживал их у себя в ящике письменного стола и вставлял в разговор, когда была возможность, выдавая их за экспромты. Он всячески демонстрировал свою ненависть к Наполеону и уверял других и себя, будто французский император также его ненавидит: личная вражда с Наполеоном поднимала его престиж, – он прекрасно это чувствовал. Престижем он дорожил чрезвычайно. На самом деле, несмотря на свои выдающиеся дарования, Федор Васильевич Ростопчин и на политическом, и на военном, и на придворном поприще был до конца своих дней – неудачник.

На обеде у графа Безбородко Ростопчин не имел достойных собеседников, не старался вставлять в разговор экспромты и скучал. Приехал он на обед по соображениям высшей политики (Павел еще не царствовал), но именно поэтому был недоволен собой и делал усилия, чтобы не наговорить неприятных и неосторожных вещей. С Прозоровским шутить не приходилось.

За борщом со сметаной (борщ лучше этого, по словам Александра Андреевича, умела готовить только в Глухове его мать Безбородчиха) хозяин считал неуместными какие бы то ни было разговоры, кроме непосредственно относящихся к еде. Борщ был сам по себе слишком серьезным делом для того, чтобы с чем-либо его совмещать; только когда на ломящийся от золота стол было подано жаркое (впрочем, также совершенно необыкновенное), Александр Андреевич нашел возможным приступить к политической беседе. Он начал издали, с французской революции – и ругнул ее как следует, но без горячности. Тон по отношению к этому событию был принят у петербургских сановников благодушно-иронический: вся, мол, так называемая революция – пустяки, просто не было хозяйской руки, а послать сотню-другую наших казачков, живо бы выбили дурь из французишек. Граф Безбородко обстоятельно развил эту мысль и кое-что еще добавил от себя применительно к данному случаю: какая, право, жалость, что не нашлось во Франции – а ведь большая страна! – человека, подобного нашему князю Александру Александровичу: всю бы революцию точно рукой сняло.

Польщенный Прозоровский снова изобразил на лице что-то отдаленно напоминавшее улыбку.

Затем Безбородко распространился об отклике событий так называемой французской революции у нас в России – и опять начал издали: так как говорить надо было о Новикове, то он заговорил о Радищеве.

– Известна, мыслю, и вам, государь мой, Федор Васильевич, – сказал он, обращаясь преимущественно к Ростопчину, ибо князю Прозоровскому все это было, наверное, хорошо известно, а с молодежью разговаривать не стоило, – известна, мыслю, и вам выданная недавно книга под заглавием «Путешествие из Петербурга в Москву». Ее величество оную читать изволила и, нашед ее наполненной самыми вредными умствованиями и дерзостными изречениями, производящими разврат, указала... Так, сударь, – обратился он вдруг к Штаалу, – есть у меня не полагается, барашка еще кусочек извольте взять... указала исследовать о сочинителе сей книги. Сочинителем книги есть Радищев, советник таможенный. Слыл человеком изрядным и бескорыстным, но, заразившись, как видно, Францией, стал проповедовать равенство и бунт против помещиков, да еще пренеприличную впутал в книгу оду, где озлился на царей и Кромвеля аглицкого хвалил, что «научил он в род и роды, как могут мстить себя народы». Шельма этакий, – добавил с удовольствием Безбородко, – а еще владимирский кавалер... Шалун обер-полицеймейстер Никита Рылеев цензировал сию книгу и, не читав ее, возьми да

благослови. Со свободою типографий да с глупостью полиции не усмотришь, как нашлаят, – сказал граф и решил передохнуть от речи, жаркого и борща, в ожидании того, что скажут гости.

– Да, ведь они неисправимы, – заметил, пожимая плечами, Ростопчин.

Князь Прозоровский издал неопределенный звук.

– Сей Радищев есть сущий жакобен! – горячо воскликнул Иванчук, ловя взгляд князя (в присутствии такого важного гостя и на такую важную тему секретарь считал нужным говорить высоким слогом).

Штааль слушал растерянно: имя Радищева было ему незнакомо, но разговор, очевидно, шел о той самой книге, которая так понравилась ему в детскую пору.

Александр Андреевич подлил гостям вина и продолжал:

– Сочинитель развратной книги, оный Радищев, взят под стражу и Сенатом, по силе воинского устава 20-го артикула, к смертной казни присужден. Ее величество, матушка императрица, по ангельской своей доброте (Безбородко вздохнул и поднял глаза к небу, но, увидев на потолке столовой изображение разрезанной жирной утки, снова стал накладывать жаркого гостям и себе)... по ангельской своей доброте приговор сей не подтвердила, но смягчила, хоть молвить изволила – и совершенная правда, – что оный Радищев есть хуже Пугачева. Ан теперь вон какое вышло в Москве зловерное дело и новое колобродство. Новикова, Николая Иванова, знать изволили? – обратился он снова к Ростопчину, касаясь наконец того предмета, для которого был устроен обед.

Князь Прозоровский поднял от тарелки свои мутно-стеклянные глаза.

– О деле слышал, но знаком не был, – поспешно ответил Федор Васильевич.

Безбородко перевел взор на Прозоровского, точно приглашая его занести куда следует это свидетельское показание.

– И слава Господу Богу, государь мой, Федор Васильевич, – продолжал он удовлетворенно, – что не знали сего ханжи, – опасного ли, не знаю, но скучного весьма, – кой ныне князем в ничтожество приведен...

– В подмосковной своей деревне Авдотьино, – сказал Прозоровский, мутно глядя на Ростопчина, – государственный преступник Новиков по моему приказу воинскою силой, эскадроном полицейских гусар под начальством Жевахова князя арестован. Ныне же волею ее величества на пятнадцать лет посажен в Шлюссельбургскую крепость. Опасности более нет...

Безбородко поперхнулся рейнским вином. Он вспомнил, как Кирилл Григорьевич Разумовский, известный своим остроумием и независимостью мысли, издевался над экспедицией князя Жевахова: «Чем расхвастался старый дурень Прозоровский: старика больного арестовал, точно Силистрию взял!»

Иванчук очень бойко и громко заявил, что, к счастью, с мартинистами и масонами покончено раз навсегда. Его сиятельство имеет в этом деле огромную заслугу перед отечеством. Не нужно забывать также старание, проявленное помощником князя, Степаном Ивановичем Шешковским, которого мы все знаем, любим и уважаем.

Безбородко сначала с неудовольствием поглядел на Иванчука, – такому молодому человеку, по его мнению, не следовало вмешиваться в разговор сановников, – но успокоился, увидев благосклонный взгляд, который бросил на секретаря князь Прозоровский. «Шустрый, шельма, – подумал он, – далеко пойдет – наш брат, глуховский. Не то что тот мальчуган из школяров Семена Гавриловича».

Ростопчин с кривой усмешкой посмотрел на Иванчука. Он начинал раздражаться.

– Похвально, – сказал хрипло Прозоровский. – У Шешковского Степана ругателей много. Называют кровопийцей... Неправда!.. Почтенный человек... Царский слуга!

– Кнутобойничает малость, говорят, ваше сиятельство, – заметил с усмешкой Ростопчин. – В его деле, конечно, без кнута трудно. *Mais il paraît que le brave homme exagère*<sup>42</sup>.

– Не кнутобойничает, – прохрипел Прозоровский. – Ложь! Ругателей много, верных слуг престолу мало!

Безбородко с тревогой посмотрел на гостей и поспешно заговорил опять. Его гладкая мягкая речь немедленно внесла успокоение. Он с большой похвалой отозвался о свойствах князя Прозоровского, затем отдал должное уму Федора Васильевича, которого ждет такая блестящая карьера: «Всех нас затмите, сударь, как утро затмевает вечер» (Александр Александрович почувствовал, что этот образ у него не вышел, но продолжал еще более плавно). Ругнул опять французскую революцию, ругнул и мартинистов, поспешил отметить, что великий князь, как всем известно, вполне одобряет политику государыни императрицы, очень похвалил также отменные качества великого князя. И выразил, наконец, полное душевное удовлетворение по поводу того, что они втроем, у него в доме, так хорошо обо всем поговорили и что князь Александр Александрович и Федор Васильевич сразу вполне оценили друг друга. В заключение речи он налил гостям по полному кубку какого-то удивительного вина и заставил их выпить.

Ростопчин хмуро слушал. Он понимал, что нужно Александру Александровичу и для чего устроен обед. Федор Васильевич сам считал необходимым несколько реабилитировать себя в кругах близких к императрице. Но ему было досадно, что он вынужден поддерживать общение с ничтожными людьми, – особенно с этим выжившим из ума старым тираном. Зато Ростопчин предвкушал удовольствие от сатирического письма, в котором на своем прекрасном французском языке он опишет графу С.Р. Воронцову отвращение, внушенное ему личностью Прозоровского. «Только и есть из русских два европейца: Воронцов и я», – подумал он.

– Достоин удивления, – сказал Иванчук, – что русские жакобены – люди нашего круга, *les gens de notre rond*, такие же дворяне, как мы все: Радицев, Новиков, Ладыженский, Трубецкой, Тургенев. *Tres bons noms, ma foi*<sup>43</sup>.

Ростопчин, с отвращением выслушавший французскую фразу Иванчука, подумал, что из этого замечания, отточив и приправив его как следует, можно будет при случае сделать недурной афоризм, – надо запомнить. Безбородко тоже воспользовался словами молодого секретаря и навел разговор на тему, которая должна была всем понравиться: он попросил Федора Васильевича объяснить ему свою родословную.

– Мы приходим, – сказал небрежно Ростопчин, – от Федора Давидовича Ростопчи, знатного татарского вельможи, кажется, ханского, то есть царского, происхождения, который выселился из Крыма в Россию при...

Александр Андреевич слушал, изобразив на лице восхищение, и замечал про себя, что самого умного человека можно поддеть на какую-либо глупость: «Ведь все ты врешь, сударь, – думал он. – Вряд ли существовал в Крыму Федор Давидович Ростопча, а если существовал, то не важная был, проклятый нехристь, персона: верно, такой же, если не хуже, разбойник, как мой Демьян Ксенжницкий, герба *Ostoja*, Остржетовского воеводства».

---

<sup>42</sup> Но, кажется, этот почтенный человек чересчур усердствует (франц.).

<sup>43</sup> Лучшие фамилии, клянусь честью (франц.).

## 7

Средний Эрмитаж уже начался, когда позолоченная восьмистекольная карета графа Безбородко остановилась против Брюсовского дома, у правого малого подъезда дворца. Ловко соскочивший первым Иванчук помог вылезти министру; за ними в плохо освещенный подъезд вошел, замирая, Штааль. Александр Андреевич, отдавая свою шубу, прочел накинувшимся на него лакеям подробное наставление о том, как надо с ней обращаться, да еще особо приказал своему гайдуку-хохлу примоститься к шубе, внимательно за ней следить и не отходить от нее ни на шаг. Граф говорил таким тоном, будто он попал не во дворец, а в разбойничий притон. Безбородко весь сиял бриллиантами своей Андреевской звезды, погона для ленты, пуговиц мундира и пряжек башмаков; тем не менее общий вид его был ненамного изящнее, чем обыкновенно. Александр Андреевич, чувствовавший себя во дворце точно дома, сначала куда-то отлучился, а потом уверенно пошел, переваливаясь, по лестнице наверх. Молодые люди последовали за ним. Иванчук вполголоса называл Штаалю покои дворца. Но Штааль в первые минуты ничего не замечал. У него разбежались глаза от дворцового великолепия. Все внимание его было устремлено на то, чтобы не свалиться на необычайно скользком, натертом до пределов возможного, паркете и как-нибудь не войти в одно из предательских, огромных, во всю стену, зеркал, которые только в последнюю минуту неожиданно отражали его собственную фигуру, казавшуюся ему в отраженном виде очень маленькой и затерянной. Молодого человека привел в себя внезапно пахнувший на него теплый оранжерейный запах цветов. Они входили в зимний сад Эрмитажа. Гостей было еще немного: Безбородко любил приезжать рано. Граф остановился у чахлого деревца, послушал с открытым ртом пение канарейки и затем пригласил Иванчука в свидетели того, что у них в Глухове соловьи поют гораздо лучше. Иванчук постарался этого не расслышать и, воспользовавшись минутой, когда Безбородко стал радостно здороваться с каким-то свитским генералом, увлек Штаалья за собой. Он показал ему обе гостиные Эрмитажа, столовую, чудесный маленький театр с надписью на сцене: *ridendo castigat mores*<sup>44</sup> – и, наконец, длинную картинную галерею, где сразу оглушил юного провинциала именем Рафаэля. Штааль мало смыслил в картинах, но знал, что Рафаэль в живописи – все равно как Суворов в военном деле: лучше не бывает. Он принялся восхищаться рафаэлевскими фресками. На этом занятии его застал хватившийся их Безбородко. Александр Андреевич, как ни странно, был большой знаток живописи и галерею Эрмитажа знал превосходно. Штааль поспешил выразить свой восторг перед фресками.

Безбородко снисходительно объяснил ему, что это не подлинный Рафаэль, а копия с ватиканского Рафаэля, правда, очень хорошая, сделанная по особому заказу Райфенштейном. «И славные гроши сорвал шельма немец», – с удовольствием добавил он. Обескураженный этим эпизодом, Штааль отошел от фресок, сел, по возможности непринужденно, около двух одинакового вида старичков в придворных мундирах и стал слушать их мирную беседу.

Галерея, зимний сад и гостиные Эрмитажа постепенно наполнялись. Нервно теребя пуговицу своего камергерского мундира, в зал вошел Федор Васильевич Ростопчин. Его появление произвело в публике небольшую сенсацию: как человек враждебного гатчинского мира, тесно связавший свою политическую карьеру с судьбой Павла Петровича, он в Эрмитаже появлялся не часто и не пользовался большими симпатиями при дворе императрицы. Ростопчин, видимо, наслаждался тем, что на мгновение стал предметом общего внимания. Холодно-учтиво здороваясь с гостями, он остановился перед «*L'enfant prodigue*»<sup>45</sup> и, отступивши на два шага от стены, посмотрел на полотно под согнутую кисть руки. Все движения его казались неестественными

<sup>44</sup> Смехом исправляют нравы (лат.).

<sup>45</sup> «Блудный сын» (франц.).

Штаалю. Картиной Сальватора Розы Ростопчин любовался недолго: заметив одиноко стоящего у окна седого старика, он поспешно направился к нему и поздоровался с ним совсем не так, как с другими.

На этого красивого старого человека Штааль еще раньше обратил внимание. И в лице его, и в темной простой одежде было что-то, выделявшее его из толпы других гостей. Иванчук, знавший вся и всех, назвал ему этого гостя, с особенным удовольствием выговорив его фамилию. Фамилия точно была звучная: старик носил одно из самых знаменитых имен французской знати; это был недавно прибывший в Петербург эмигрант.

Он поздоровался с Ростопчиным с той особой изысканной учтивостью, которая создала в мире штампованное слово «*politesse francaise*»<sup>46</sup> и которая в действительности свойственна только старым, хорошо образованным и много жившим французам. Эмигрант раза два в жизни видел Ростопчина; но приветливая улыбка, немедленно появившаяся на его тонком усталом лице, выразила необычайное удовольствие по поводу встречи с Федором Васильевичем. Ростопчин оживленно заговорил, намереваясь сервировать этому выходцу старого Версаля свои отточенные французские экспромты, которых в Петербурге никто не мог оценить по достоинству.

– Что, или скучаете, сударь? – спросил Штаалья появившийся за его креслом Безбородко. – Государыня нынче опоздала, верно, много изволила покушать: сегодня было к обеду, сказывают, вареное мясо с огурцами. Очень матушка любит это блюдо, за что ее хвалю, хоть наш борщ будет повкуснее.

Он поздоровался с двумя одинаковыми придворными старичками, пошутил с ними, представил им Штаалья, на которого они не обратили ни малейшего внимания, и затем, увидев у окна Ростопчина с французским эмигрантом, взял слегка упиравшегося молодого человека под руку и направился с ним к окну.

– Вот познакомлю вас, сударь, – сказал он по дороге, – преумный старик! Таких людей у нас днем с огнем не сыскать.

Как раз когда они подходили, Ростопчин нашел случай вставить в разговор один из своих экспромтов:

– J'ai de l'éloignement pour les sots et pour les faquins, pour les femmes intrigantes qui jouent la vertu; un degout pour l'affectation, de la pitié pour les hommes teints et les femmes fardees, de l'aversion pour les rats, les liqueurs, la metaphysique et la rhubarbe, de l'effroi pour la justice et les betes enragees...<sup>47</sup>

На губах старого эмигранта, который, наклонив голову, слушал Ростопчина, появилась легкая одобрительная усмешка, показывавшая, что он вполне оценил остроумие и тонкость услышанной мысли. Но в глазах его промелькнуло и сейчас исчезло выражение усталости, не скрывшееся, однако, от Федора Васильевича. Ростопчин почувствовал, что никакими изящными экспромтами, никакими отточенными афоризмами нельзя удивить этого старика, бывшего собеседником Вольтера. Лицо графа Безбородко расплылось в приятнейшую улыбку; он даже зажмурил глаза, точно услышал звуки бандуры. Почмокав губами, он представил старому эмигранту Штаалья – и опять на лице старика появилось такое выражение, будто никакое знакомство в мире не могло доставить ему больше удовольствия. Он поклонился незнакомому юноше совершенно так же, как в свое время кланялся Людовику XV, и просто, уверенно произнес любезную фразу комплимента. Очарованному Штаалю невольно показалось, что, как птице естественно петь, так этому версальскому старику естественно говорить изысканные тонкие фразы.

---

<sup>46</sup> «Французская учтивость» (франц.).

<sup>47</sup> Я избегаю дураков и наглецов, легкомысленных женщин, играющих в добродетель, у меня вызывают брезгливость и жалость крашенные мужчины и развращенные женщины, я испытываю отвращение к крысам, к ликерам, к метафизике и ревению и ощущаю страх перед правосудием и перед разъяренными животными... (франц.)

Безбородко познакомил молодого человека и с некоторыми другими гостями. Представил его шталмейстеру Льву Александровичу Нарышкину, брату обершенка, владельца дач «Баба» и «Га-га», известному шутнику и любимцу Екатерины. Представил и Гавриле Романовичу Державину, сидевшему молча в углу и мечтавшему о том, чтоб была к ужину стерлядь. Штааль попытался было сказать знаменитому сочинителю тонкий комплимент вроде того, который он сам только что услышал от француза. Но и комплимент вышел сбивчивый, и Державин хмуро посмотрел на юношу: любил быть при дворе сановником, а не поэтом. Штааль пошел бродить по галерее, необычайно интересуясь картинами. Иванчук точно назло не подходил к нему: он перебегал от одной группы к другой и везде, оживленно жестикулируя, вступал в беседу.

Вдруг все гости встали, и гул говора сразу замолк. «Вот и матушка», – равнодушно пояснил Штаалю поймавший его снова Безбородко и стал грузно пробираться к появившейся в дверях, в сопровождении молодого красивого офицера, невысокой старухе. Штааль смотрел во все глаза на вошедшую и не мог поверить, что перед ним великая Екатерина. Появлению императрицы, по его предположениям, должны были предшествовать драбанты, герольды, пажи. Ничего этого он не видел. А главное, сама Екатерина оказалась совершенно не такой, какой он себе ее представлял. Ничего похожего в ней не было ни на Фелицу, ни на ту прекрасную величественную даму, портрет которой висел в кабинете графа Зорича. Была толстая, румяная, усиленно-прямо державшаяся старуха довольно благообразного, но очень обыкновенного вида, немного похожая на экономку-немку, служившую, недалеко от Шклова, в доме помещика Киселевского. На императрице было парчовое платье так называемого молдаванского фасона, украшенное андреевской, георгиевской и владимирской лентами. Она ласково улыбалась мужчинам и быстро окидывала взором молодых женщин, беспокойно оглядываясь на вошедшего с ней молодого офицера. Это был граф Платон Зубов. Со скучающим видом, зевая, он рассматривал общество, небрежно кивая в ответ на почтительные поклоны наиболее важных гостей. Впереди Льва Нарышкина к руке императрицы подходил Ростопчин. Екатерина улыбнулась ему несколько холоднее, чем другим, и ничего не сказала, когда он по-придворному целовал ей руку, не подняв последней ни на вершок, а низко, на уровень талии, опустив свою голову к руке императрицы. Штааль мог еще увидеть, как Ростопчин с достоинством поклонился Зубову, который не удостоил его даже самым легким кивком в ответ; при этом желчное геморроидальное лицо Федора Васильевича дернулось, точно от острого припадка зубной боли. Он круто повернулся, злобно покосился на окружающих и отошел. С Нарышкиным императрица поздоровалась гораздо ласковее. Он долго, сочно и несколько раз поцеловал руку Екатерины, а затем, фамильярно повернув ладонь кверху и заметив: «Уж мне, старику, матушка, позволь!» – поцеловал в то место, где бьется пульс. Императрица, смеясь, выдернула руку.

– Будет уше тебе, старый грешник, – ласково сказала она.

Штаалья поразил ее голос, совершенно мужской баритон, и резкий немецкий акцент, и то, что в верхней челюсти у нее не хватало широкого переднего зуба, отчего улыбка придавала ей неприятный, очень старческий вид. Как раз в ту минуту, когда он делал это наблюдение, Безбородко представил его императрице. Государыня окинула молодого человека с ног до головы довольно продолжительным взглядом и, ласково улыбнувшись, протянула ему руку. Он очень неловко, совсем не по-придворному, совершил обряд поцелуя, после чего Екатерина – к большому его смущению – потрепала его по щеке.

– Совсем ешо малыш, – сказала она, ни к кому особенно не обращаясь. – Ошень вам рада. Надеюсь, што вам моя хишина нравиться будет.

Зубов хмуро посмотрел на Штаалья, на Безбородко, на императрицу. Штааль поспешил отретироваться. К большому его удивлению, к нему стали подходить и представляться придворные. Подошли в числе других два одинаковых старичка, которые четверть часа тому назад не обратили на него никакого внимания, и тепло пожали ему руку. А один из них даже позвал его на обед.

– Милости прошу к нам запросто хлеба-соли откусать, очень будем рады, – с чувством несколько раз сказал он.

Нарышкин настойчиво убеждал императрицу прочесть какое-либо из ее новых произведений в стихах. Екатерина, скромно улыбаясь, отказывалась.

– Матушка, благодетельница, родимая, золотая, ваше величество, – скороговоркой говорил Нарышкин, – ну, прочти, ну, что тебе стоит, ну, оживи душу, Бога ради!

Окружавшие гости единогласно присоединились к просьбе шталмейстера.

– Ну, хоть монолог Навилии прочти, – убеждал Лев Александрович. – Батюшки, отцы родные, что за монолог! Какой монолог! И зачем ты Шакеспеару подражаешь? Что против тебя Шакеспеар! Ну, прочти, ну, вот это место:

Вселившийся давно в утробу яд мою,

Кой производишь толь в ней лютость всю твою!..

Ну, как дальше? Прочти, родная! Видишь, мы все ждем.

Гости точно ждали, застыв от восхищения. А Гавриил Романович Державин даже зажмурил от восторга глаза, услышав два прочтенных Нарышкиным стиха императрицы.

Екатерина, отказавшись читать свои стихи, любезно заговорила с французским эмигрантом.

– Il paraît que les choses ne vont pas bien chez vous... – сочувственно кивая головой, сказала она. – Quelle infortune, Monsieur! Vous nous direz vos impressions?<sup>48</sup>

– Iniandum regina jubes renovare dolorem<sup>49</sup>, – произнес с усмешкой старик.

Екатерина одобительно улыбнулась, хотя не поняла ни слова из цитаты и даже не разобрала, на каком она языке (эмигрант произносил по-французски: энфандом режина).

– Comme c'est vrai!.. – сказала она. – Que vos impressions doivent être intéressantes! Nous vous écoutons. Monsieur<sup>50</sup>.

Эмигрант начал было говорить, но императрица немедленно его перебила; на лице мгновенно замолчавшего старика проскользнуло изумление: он не привык к тому, чтобы его прерывали в разговоре. Екатерина высказала ряд общих соображений о французской революции. По ее мнению, движение это не представляло серьезной опасности. Тем не менее иностранные державы должны принять некоторые меры предосторожности – особенно в деле воспитания подрастающих поколений: молодежи надо давать самое строгое моральное и религиозное воспитание. Надо служить ей примером. Надо, чтобы молодые люди видели перед собой честную добродетельную жизнь. И она с сожалением принуждена констатировать, что, например, в России иностранные гувернантки далеко не стоят на должной высоте; в большинстве это женщины безнравственные, подающие юношам и особенно девушкам самый дурной пример.

По лицу Ростопчина скользнула злая усмешка. Александр Андреевич Безбородко, одобритительно зачмокав губами, громко сказал: «А что я говорил!.. Святая истина! Совершенно справедливо!» – и хотел было сам произнести – в развитие мыслей императрицы и в связи с французской революцией – небольшое слово о развратном поведении иностранных гувернанток. Но граф Зубов бесцеремонно его перебил и капризным голосом сказал императрице:

– Оп-ять сегодня нет спектакля... Я жел-лаю играть в рокамболь.

Екатерина беспокойно обернулась и, ласково кивнув эмигранту, направилась к карточному столу. Зубов, зевая, последовал за ней. Все почтительно перед ним расступались. Началась игра. В разных углах галереи загудел оживленный разговор.

Старый эмигрант опять отошел к окну и оттуда обводил залу далеким безучастным взглядом. Его искушенный глаз потомка десяти придворных поколений механически подмечал все:

<sup>48</sup> Кажется, у вас не все благополучно... Какое несчастье, сударь! Вы нам расскажете о своих впечатлениях? (франц.)

<sup>49</sup> Не бреди печалей словами, царица (лат.).

<sup>50</sup> Как это верно!.. Как должны быть интересны ваши впечатления! Мы вас слушаем, сударь (франц.).



плохое освещение дворца, дурные гобелены на стенах, неловкость прислуги... В маленьком домике Петра было, по его мнению, больше великодержавности, чем в этой подделке под что-то, не очень заслуживавшее подражания. Блеск и роскошь Эрмитажа, так поразившие Штааля, казались почти бедными старику: он вырос при дворе Людовика XV, знал Версаль с его сорокамиллионным бюджетом и с четырьмя тысячами человек штата. Праздники молодых лет тоскливо вспоминались эмигранту. Он думал о том, что остался на старости без пристанища, без близких людей, без денег; думал, что ехать ему некуда, а жить негде, нечем и незачем; что в этой странной молодой стране эти чужие люди, которые во многом не уступят завсегда-тням залы Oeil de Voeuf<sup>51</sup>, так же равнодушны к бедствиям Франции, как к тяжелой участи ее изгнанников; что люди эти считают себя его благодетелями, да, пожалуй, и правы, ибо человек, потерявший родину, – тот же нищий. Думал, что Эрмитаж, вероятно, рано или поздно постигнет участь Версаля и что урок Версаля ничему не научил Эрмитаж. Думал, что и сам он совершенно напрасно когда-то ездил с Лафайетом в Америку бороться за чью-то свободу: ведь и он, и Лафайет, и другие свободолюбивые аристократы получили от народа такое же выражение благодарности, как завзятые, закоренелые реакционеры... Думал, что за Екатерину России придется платить, как теперь они платят за гаремы Людовика XV.

И вдруг ужасное видение сентябрьской резни роялистов, раздетый изуродованный труп милой принцессы Ламбаль, который позорили на его глазах, с необыкновенной ясностью встали в памяти старого эмигранта. Лицо его искривилось и побледнело...

Было десять часов вечера. Ужин кончился. Кончилась и партия рокамболя. Императрица встала из-за стола, шутиливо расплачиваясь и поздравляя князя Зубова с выигрышем. Как раз в эту минуту Безбородко неожиданно взял Штааля под руку и быстро провел его перед государыней, сказав ему тихо и сердито: «Держитесь, государь мой, ровнее!» Екатерина опять, ласково улыбаясь, одарила молодого человека продолжительным взглядом. В ту же минуту Штааль почувствовал на себе злой, холодный взгляд красивых глаз графа Платона Зубова.

Ее величество, сделав три небольших поклона, – налево, направо и перед собой, – ушла с Зубовым во внутренние апартаменты. Гости, вставая, шептались.

В позолоченной карете графа Безбородко Иванчук, против обыкновения, сосредоточенно молчал. Зато Александр Андреевич был настроен чрезвычайно весело. Он шутил, смеялся, острил. Не доезжая до своего дома, граф вдруг обнял Штааля, защекотав лицо молодого человека соболями своей шубы, и спросил, обращаясь на «ты», не нужно ли ему денег.

---

<sup>51</sup> Бычий глаз (франц.).

## 8

День Екатерины, как всегда, начался рано. Ровно в семь часов утра ее разбудила Марья Саввишна Перекусихина. Одновременно из стоявшей в спальне корзинки медленно, с достоинством, выкарабкалась левретка, по имени Герцогиня Андерсон, подошла к постели императрицы, потянулась, низко опустив голову, и, положив передние лапки на край постели, умильно посмотрела на хозяйку. Как все немки, Екатерина обожала животных. Она порывисто подняла к себе собачку, с наслаждением ее поцеловала, – заговорила с ней на том непонятном, сладком наречии, на каком женщины говорят с животными, и наконец положила ее к себе под теплое одеяло, выпустив из-под него только острую мордочку зачавкавшей от удовольствия Герцогини. Марья Саввишна гадливо отвернулась и демонстративно толкнула левретку через одеяло в бок, подавая царице тарелку с гладко отшлифованным куском льда. Екатерина вытерла им свое лицо, мазнула льдом по носу Герцогиню Андерсон и покатила со смеху. Приятно вспомнила о красивом молодом человеке на среднем приеме; затем спросила Перекусихину, что князь, как поживает и ничего ли с ним не случилось дурного. Оказалось, что с Зубовым ничего не случилось.

– Ништо ему: дрыхнет, матушка, устал, видно, вечер, – бойко ответила Перекусихина.

Императрица радостно улыбнулась. Они с Перекусихиной очень любили друг друга и никогда ни за что одна на другую не обижались.

Спустив осторожно на ковер левретку, Екатерина отправилась умываться. В промежутке между разными притираниями она говорила с горничной, Катериной Ивановной, и убеждала ее быть возможно аккуратнее в домашнем быту, ибо муж, конечно, будет взыскивать с нее строже, чем она, императрица. Екатерина на людях органически не могла молчать.

– Ты будешь уше увидеть, Катерина Ивановна, – сказала она и тотчас поправилась, – ты уше увидишь: муш тебя непременно будет бить с кнутом. Это я вас распустила. Я слишком добрая...

– Уж такая добрая... Век за ваше величество Бога молим, – лениво отвечала для приличия горничная, очень довольная тем, что разговаривает о своих делах с императрицей.

Надев белый гродетуровый капот и белый флеровый чепец, наклоненный, как всегда, налево, Екатерина выпила огромную чашку необыкновенно крепкого кофе, накормила из своей чашки сливками и сахаром Герцогиню Андерсон, затем перешла в кабинет и села за письменный стол. Секретаря Храповицкого еще не было. Не являлся пока с докладом о спокойствии в городе и обер-полицмейстер. Императрица посмотрела на часы и вздохнула. Ей очень хотелось послать за Зубовым, – без него всегда было неуютно и беспокойно. Но граф, конечно, еще спал, а будить его было жалко.

Императрица надела очки и при виде лежавших на столе мастерски очиненных перьев и больших листов прекрасной гладкой бумаги почувствовала хорошо ей знакомое, неопределенное беспокойство. Екатерина была такая же графоманка, как и ее мать (только Иоганна-Елизавета писала лучше). Императрица сочиняла басни, сказки, поговорки, стихи, комедии, романы, философские, педагогические и политические статьи. Писала она на разных языках, но всеми языками владела довольно плохо: по-немецки несколько разучилась, французский знала не слишком хорошо, а научиться русскому языку ей не было суждено. В это утро она не знала, на чем остановить выбор. Немецкий роман ее из восточной жизни «Обидаг» был давно закончен. Последнюю бытовую комедию из русской жизни спешно переводил с немецкого языка Храповицкий (тайком от всех придворных и особенно от сочинителей, ибо предполагалось, что императрица пишет по-русски). Можно было заняться письмами. Екатерина принялась писать Гримму; но этот вечный корреспондент порядком ей надоел... Вольтер давно умер. С ним в свое время было приятно переписываться. Правда, вначале императрица несколько боялась

короля писателей, – стиль ее первых писем к нему выправлял Андрей Шувалов, в совершенстве владевший французским языком. Но потом страх прошел: любезнее Вольтера не существовало человека на свете. Совершенно презирая людей, Вольтер, когда не было надобности в противном, говорил им в глаза только самые приятные вещи. Он хладнокровно осыпал императрицу лестью, грубость которой граничила порою с чудесным. Вольтер был убежден в том, что лесть никогда не бывает, да и не может быть, слишком грубой, а в обращении с женщинами – всего менее. Он сравнивал императрицу с Божьей матерью, млел от восторга перед ее ученостью, которой она далеко превосходила, по его словам, всех философов мира, и выражал в письмах скорбь по поводу того, что не умеет писать по-французски так хорошо, как она. И хотя почти в каждом из подобных писем он находил случай попросить императрицу о каком-либо одолжении, чаще всего денежного характера, Екатерина, при всем своем уме и жизненном опыте, по-настоящему наслаждалась его бесстыдными похвалами. Вольтер, в свою очередь, приходил в самое веселое настроение духа, читая письма царицы и находя в них кроме денежных приложений совершенно невозможные парижские фразы (Екатерина любила писать игриво, бойким, развязным слогом). Такими фразами он немедленно делился с приятелями, вспоминая при случае, по поводу императрицы, разные ее *affaires de famille*<sup>52</sup>. Вольтер, в частности, разумел под этим названием убийство Петра III (о котором, во время его царствования, он писал столь же головокружительно лестно). Таким образом, оба корреспондента – императрица и Вольтер – были почти всегда вполне довольны друг другом.

Письмо Гримму не выходило. Екатерина отложила его в сторону и взяла другой лист бумаги. Ей захотелось написать любовное стихотворение, непременно по-русски, с посвящением Зубову. Довольно быстро она набросала несколько строк, но остановилась на четвертом стихе: забыла, какого рода ландыш, а нужно было употребить эпитет.

«Серебряный ландыш? Серебряная ландышь? – спрашивала она себя. – Может быть, выкинуть совсем “серебряный”?.. Нет, никак нельзя. Нужно будет узнавать у Гавриила Романовича. Пусть он потом посмотрит стихи».

При этом она с досадой вспомнила, что на тещу Гавриила Романовича Державина, за ее поборы с просителей опять поступили жалобы. Одна из них как раз лежала в пачке бумаг, оставшихся со вчерашнего дня.

«Все, все крадут! *Alle sind Diebe!*»<sup>53</sup> – сердито подумала императрица.

Крали действительно многие. Это воровство чиновников иногда приводило императрицу в чрезвычайное раздражение: она поднимала крик, грозила всем тюрьмой и каторгой, заливалась слезами, не слушая трагических утешений фаворита, – а через полчаса, успокоившись, посылала куда следует за толстыми пачками новеньких ассигнаций, чтобы утешить графа Зубова, который, бедный мальчик, так переволновался из-за нее и из-за общей нечестности чиновников.

В той же пачке оказались счета Гваренги. Императрица внимательно их просмотрела и опять с гневом подумала, что уж очень бесстыдно стал Гваренги воровать. Надо бы прогнать его. Так и в прошлом году заказал за чем-то в Италии мавзолею принцу Ангальт-Бернбургскому. В России сделали бы такую же мавзолею много дешевле.

Отгнав от себя на время эти мысли, Екатерина спрятала недоконченное стихотворение и принялась за бумаги, оставленные вчера Зубовым. Это были доклады и проекты, посланные на заключение графа Платона Александровича и возвращенные им с его резолюциями.

«Бедный, сколько он работает», – подумала государыня, любовно поглядывая на заметки фаворита, и утвердила, не читая, все его заключения, написав на каждом: «Быть по сему».

<sup>52</sup> Семейные дела (франц.).

<sup>53</sup> Все воры (нем.).

Среди писем было одно от ее сына, Бобринского, но оно не заключало в себе ничего интересного. Екатерина быстро и невнимательно его пробежала. Затем небольшим серебряным ключом открыла потайной ящик, где лежали самые интимные бумаги, и аккуратно положила куда следует письмо Бобринского. Когда она раздвинула аккуратно распределенные по фаворитам, перевязанные шелковыми шнурочками, пакеты интимных писем, ей вдруг под руку попался лежащий особняком измятый лист серой нечистой бумаги с большими, кривыми, прыгающими буквами, написанными неумелой, пьяной рукой. Она вздрогнула, выронила бумагу и схватилась рукой за сердце, которое у нее давно пошаливало. Императрица посидела так с полминуты; лицо ее побледнело, изменилось; резко обозначился двойной подбородок, и вся она сразу как будто состарилась лет на десять. Затем потянулась к листу правой рукой, не отнимая левой от сердца. Екатерина прочитывала это письмо всякий раз, когда оно нечаянно попадалось ей под руку, хотя тридцать лет знала в нем каждое слово, очертания каждой буквы. Это было присланное из Ропши в шесть часов вечера, шестого июля 1762 года, письмо, которым Алексей Орлов извещал любовницу своего брата (и свою) об убийстве Петра III:

«Матушка милосердная Государыня. Как мне изъяснить, описать, что случилось: не пове-ришь верному своему рабу. Но как перед Богом скажу истину. Матушка, готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете... Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя! Но, Государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором. Не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или при-кажи скорее окончить. Свет не мил: прогневали тебя и погубили души навек».

Морщины на лице государыни сложились болезненно резко. Она долго неподвижно сидела в кресле, тяжело дыша и не сводя глаз с письма, выпавшего из ее руки. Все подробности петербургского действия встали в ее воображении. Но еще страшнее этих подробностей было то, что могло каждую минуту ее постигнуть. Кто знает, может быть, и против нее составлен заговор? И ее могут задушить так же просто, как задушили мужа... Те же самые люди... И безнаказанно!.. Павел еще, пожалуй, наградит убийц, как она осыпала наградами Орловых...

Перед ней встала в памяти так хорошо знакомая ей, страшная фигура Алексея Орлова... Этот человек, который когда-то, угадав страстное невысказанное желание императрицы, задушил ее мужа, впоследствии нередко, многозначительно на нее поглядывая, загадочно говорил, что у него остались кое-какие связи в гвардейских частях. И, вспоминая мощную бесстыдную фигуру своего любовника, вспоминая, как он задушил Петра (подробности этого убийства знала только она одна), вспоминая, как он заманил и предал соблазненную им, доверившуюся ему княжну Тарakanову, вспоминая полускрытую угрозу письма «разыскивать нечего», Екатерина холодела от ужаса. Кто уберет ее? Потемкин умер... Прежде, за ним, было покойно. Он-то сумел бы защитить ее от Орлова и от всяких заговорщиков. А Платон – какая от него защита?.. Да еще надежен ли он сам? Не изменяет ли с другими женщинами?.. Кто бы только они, подлые?

Императрица позвала камердинера Захара Зотова, который, как вся прислуга, был с ней в самых лучших отношениях, – Екатерина умела находить общие интересы с Захаром Зотовым и с Вольтером. Камердинеру было строго приказано зорко примечать за князем, – особенно, куда ездит после ужина, когда ужинает не во дворце. Зотов обещал тщательно следить, но клялся всеми святыми, что князь верен и никуда после ужина не ездит.

Екатерина кивнула головой. Зотову она доверяла, и его мнение очень ее успокоило.

– Сама знаю, что князь мне верен, – сказала она. – Ну, уж зови...

Прием происходил в спальне. Императрица уселась перед выгнутым столиком и позволила в колокольчик. Обер-полицеймейстеру было сухо приказано усилить надзор в городе, ибо времена беспокойные. «Небось слышал, что во Франции творится?» Затем были разом допу-

щены секретарь Храповицкий и любимец Екатерины (тоже бывший когда-то, очень недолго, ее любовником) обер-шталмейстер Нарышкин, который, когда хотел, присутствовал на докладах. Храповицкий вручил царице новую ее поговорку и русскую бытовую комедию, которые он ночью переписал. Екатерина небрежно его поблагодарила, пошутила насчет его полноты и посоветовала ему принимать холодные ванны, а против мозолей употреблять красный воск, тот самый, что ей рекомендовал граф Дмитриев-Мамонов. Нарышкина спросила, не помирился ли его брат с княгиней Дашковой, – их старинная ссора была вечным предметом ее шуток, – и добавила сама, что примирятся они в тот день, когда ученые найдут квадратуру круга. Затем, пошутивши ровно столько, сколько нужно, императрица заговорила по-французски, показывая этим, что пора заняться делами. Храповицкий на том твердом, отчетливом, чуть неестественном французском языке, которым говорят русские люди, хорошо этим языком владеющие, ясно и толково доложил важнейшие дела. Екатерина, очень быстро все сообразив своим гибким искусственным умом, дала точные, ясные и толковые инструкции для ответа. Затем, помолчав, спросила Храповицкого с принужденной улыбкой, зачем, собственно, приехал из Москвы князь Прозоровский. Храповицкий дипломатически уклонился от ответа, не желая при свидетеле дурно отзываться о могущественном вельможе. Он отлично знал, что Прозоровский приехал просить для себя и для своих сотрудников, Архарова, Шешковского и Пестеля, награды за истребление мартинов. Храповицкий прекрасно понимал также, что Екатерина это отлично знает сама – и непременно наградит князя, хотя делает вид, будто он ей неприятен.

– Еще дела какие? – помолчав, сказала Екатерина.

Она спросила о том, послано ли письмо Чернышеву в Рим, чтоб и не думал заказывать мозаики. И нет ли известий о приезде графа д'Артуа? И отделяется ли для него дом Василия Ивановича Левашова?

– Все французишки к тебе бегут, матушка, – сказал опять по-русски Нарышкин. – Верно, в Петербурге и в Сарском слаще жить, чем у немца. Гнала бы ты их в шею. Намедни заходил в кофейню Анри, – француз на француз сидит.

– В самом деле, ваше величество, – подтвердил Храповицкий, – число французских эмигрантов, желающих поступить на русскую службу, растет весьма быстро. Не угодно ли взглянуть на эту папку? Здесь реестер имен и прошения.

– Плюнь на них, матушка, – упрямо по-русски говорил Нарышкин. – Довольно с нас Ришелье, да Ланжерона, да Вербуа, да Эстергази.

– Не ведаю, чем они мешают господину обер-шталмейстеру, – сердито сказал Храповицкий. – А гостеприимство в обычае народа русского. Ласково принимать чужеземцев велят нам и нравы Древней Руси, и заветы великого Петра.

– Народ чахлый, тощий: какое тут гостеприимство, ни поесть с ними, ни выпить, – пояснил несколько сконфуженный Нарышкин. – И все ноют: *L'exil! Chere patrie!*<sup>54</sup> И все у нас не так... Ну и пусть едут в свою шерпатри, к жакобенам... А впрочем, твоя воля, матушка. Мне что! По мне пусть хоть совсем у нас остаются.

Екатерина задумалась. Ей льстило, что на ее службе состоят представители знатнейших французских родов. Льстила и мысль – оказать у себя гостеприимство правнуку Людовика XIV. Но она прекрасно понимала, что эмигранты хотят впутать ее в трудные и нисколько ни ей, ни России не нужные предприятия. Было бы гораздо лучше, если б помощь Франции оказывали лишь прусский и австрийский дворы. Тогда и в Польше у нее освободились бы руки. Вместе с тем достоинство России, которым она чрезвычайно дорожила и которое умела оберегать, требовало, чтобы эмигрантам была оказана помощь.

<sup>54</sup> Изгнание! Дорогая родина! (франц.)

– Нет, надо что-либо сделать для эмигрантов, – сказала она задумчиво. – Это вопрос чести. Но в Петербурге им всем без дела сидеть, правда, незачем. Я посылала Ришелье к принцу Конде: предлагаю ему и всей его армии поселиться в России на восточном берегу Азовского моря. Пусть колонизируют нашу пустыню... И денег мы им на это отпустим...

– Так к тебе французишки и пойдут пустыню пахать, матушка, – сказал со смехом Нарышкин.

Вдруг дверь спальни неожиданно растворилась. Без доклада, без стука в комнату вошел граф Платон Зубов. Он был бледен и расстроен. Фаворит держал в руке распечатанный пакет.

Императрица с восклицанием радости бросилась навстречу вошедшему.

Нарышкин и Храповицкий встали и почтительно поклонились.

– Ваше величество, – сказал по-французски Зубов, зачем-то понижая голос, – из Европы получены очень дурные вести. 10 января, в 10 часов утра, в Париже казнен король Людовик XVI...

Звонкий смех Екатерины осекся.

В комнате внезапно наступила мертвая тишина. Храповицкий перекрестился. Нарышкин побледнел и грустно опустил на стул.

Вдруг истерический крик вырвался из груди императрицы. Зубов бросился к ней и поддержал ее за талию: ему показалось, будто она лишается чувств. Но это не был обморок. У Екатерины начался припадок истерики.

– Зовите врача! – вскрикнул князь.

В спальне произошла суматоха. Через минуту горничные раздевали царицу и укладывали ее в постель. Марья Саввишна принесла тарелку со льдом. Прибежала, виляя хвостом, Герцогиня Андерсон, очень довольная суматохой. Появился лейб-медик Роджерсон с флаконом солей. Императрица с перекосившимся лицом истерически кричала что-то на разных языках. Кричала, что нужно истребить поголовно всех французов; что она пошлет на Париж Суворова mit Kosaken<sup>55</sup>; что все народы Европы должны принять православие, которое одно может их уберечь от заразы, посеянной проклятым Вольтером; что против ее жизни составлен гнусный заговор; что ее хотят задушить, но она все видит, знает всех заговорщиков и еще им себя покажет. Грозила казнями философам, мартинистам, Радищеву; вспоминала Потемкина и Григория Орлова; приказывала усилить стражу во дворце и пододвинуть поближе лучшие гвардейские части.

Граф Зубов находился при императрице безотлучно. Все приемы и праздники были отменены. Совершенно секретно князь вызвал к себе обер-полицеймейстера и долго внимательно расспрашивал его о настроении умов в столице.

---

<sup>55</sup> С казаками (нем.).

## 9

В придворных и правительственных кругах Петербурга известие о казни французского короля произвело сильное впечатление, главным образом потому, что оно так потрясло государыню. Екатерина заперлась в своих апартаментах и большую часть дня проводила в постели. Допускались к ней лишь самые близкие люди. На вопрос о том, как ее величество изволит себя чувствовать, императрица отвечала: «изрядно» или «отменно» (она любила такие слова и даже говорила иногда «лих», чем в свое время крайне раздражала князя Потемкина, который немедленно, не стесняясь присутствием посторонних, повторял чисто русские выражения государыни, удивительно передавая ее немецкий акцент). Но вид у государыни был дурной, лицо желтое, глаза заплаканные. Рассказывали по секрету, что в один из этих дней, спускаясь вниз в мыльню, она внезапно лишилась чувств, упала и скатилась по лестнице. С близкими людьми Екатерина говорила почти исключительно о казни короля и с тупым упорством, которое свойственно самым умным женщинам, когда они говорят о политике, все повторяла одно и то же: «Il taut absolument exterminf jusqu au nom des Francais»<sup>56</sup>. Очень поразила ее появившаяся в какой-то иностранной газете таблица, отмечавшая странную роль 21-го числа в жизни Людовика XVI: 21 апреля 1770 года состоялась его свадьба в Вене; 21 июня того же года было свадебное торжество в Париже; 21 января 1782 года праздновали рождение дофина; 21 июня 1791 года король бежал в Варенн; 21 сентября 1792 года была уничтожена монархия во Франции и 21 января 1793 года последовала кончина несчастного короля. Екатерина стала соображать, не было ли роковой даты в ее собственной жизни, но ничего такого не нашла. Только Храповицкий обратил внимание государыни на одно курьезное стечение обстоятельств: казнь Емельки Пугачева состоялась также 10(21) января – как раз в тот самый день, что и злодейское умерщвление французского монарха. Это курьезное стечение обстоятельств очень не понравилось императрице.

Зубов во время нездоровья Екатерины совсем перебрался к ней и почти не спускался в малый этаж, где находились его собственные апартаменты. Любимцы князя с умилением говорили о той нежной преданности, которую обнаружил Платон Александрович в эти тяжелые дни. По их сияющим лицам всем стало ясно, что положение князя крепче крепкого. Да и в самом деле, приняв в расчет состояние здоровья и настроение духа императрицы, трудно было ожидать появления нового фаворита. Холодок около Александра Андреевича Безбородко несколько усилился. Граф ходил чрезвычайно озабоченный и своим видом сам как будто свидетельствовал о понесенном им поражении.

В действительности мысли Александра Андреевича начинали принимать новый оборот. После известия о болезни государыни граф, немного подумав, позвал к себе на обед лейб-медика Роджерсона. К этому обеду, происходившему в маленькой столовой, где были поставлены только два прибора, Александр Андреевич велел принести бутылку старого каштелянского меда, от которого, по украинской традиции, в свое время развязывался язык у самого Мазепы, – хотя прославленный гетман выпить был мастер, а болтать зря не любил. Надежды графа, связанные с предательскими свойствами этого чудесного напитка, оправдались. После первого стакана меда угрюмый Роджерсон повеселел, а после второго – расстегнул жилет и стал называть Александра Андреевича «dear, dear friend»<sup>57</sup>. Тогда Безбородко налил ему третий стакан и вскользь незаметно навел разговор на тему о легкой болезни ее величества. Роджерсон, похлопав графа по коленке, объявил, что здоровье государыни оставляет желать лучшего. Природой послан, конечно, ее величеству превосходный организм. Но все же годы, заботы

<sup>56</sup> «Нужно совершенно уничтожить самое имя французов» (франц.).

<sup>57</sup> «Дорогой, дорогой друг» (англ.).

и (Роджерсон замялся, несмотря на два стакана меда)... и труды сильно подорвали ее крепкую натуру. Правда, эта тема с давних пор объявлена совершенно запретной, но он, Роджерсон, может сказать графу, как шотландский джентльмен русскому джентльмену, как лейбмедик императрицы министру Совета, – что с ее величеством может каждую минуту случиться несчастье.

Безбородко сильно призадумался после разговора с Роджерсоном. Ему представилась маленькая фигурка Павла Петровича, его вздернутый нос и бегающие, беспокойные глазки. Вспомнилось и то, что великий князь в свое время объяснил герцогу Тосканскому, как он намерен поступить по воцелествии на престол с фаворитами своей матери: «Велю их высечь, уничтожу и выгоню». Александру Андреевичу стало нехорошо; он подумал, что впутывается с Штаалем в очень опасную игру. Шансов выиграть ее против проклятого Зубова было теперь немного; а будущему императору эта новая история могла очень не понравиться. Граф все больше приходил к мысли, что едва ли не настало время понемногу переставить свою карьеру на карту Павла Петровича. Риск был совершенно несоизмерим: при Екатерине Александр Андреевич мог в худшем случае потерять должность; при Павле же легко было угодить в Сибирь. Между тем граф располагал верным способом заслужить милость наследника престола даже без посредства Федора Васильевича Ростопчина.

Как первый секретарь императрицы, Безбородко – один из очень немногих сановников – знал, где хранится в ее бумагах пакет, перевитый черной лентой, с надписью: «Вскрыть после моей смерти в Сенате». Александр Андреевич имел основания думать, что в пакете этом находится завещание Екатерины, содержащее в себе акт об устранении Павла от престола и о передаче последнего Александру. Безбородко не переоценивал значения этой бумаги: он думал, что устранить наследника путем секретного завещания далеко не так просто: царей вообще лишают престола иначе. И Александру Андреевичу приходило в голову, что не худо бы в день великого несчастья, вместо передачи пакета, перевитого черной лентой, в Сенат, вручить этот пакет самому Павлу Петровичу. Таким образом можно было бы заслужить не только прощение старых грехов, но и большую царскую милость. Обдумывая это дело, Александр Андреевич пришел к мысли, что надо пока занять очень осторожную, выжидательную позицию и отнюдь не раздражать Павла. Не мешало даже уехать в продолжительный отпуск – в Москву или за границу. Во всяком случае, было ясно, что теперь, в пору траура, с отмены праздников и приемов, у больной, нервной государыни Штааль имел очень мало шансов на решительный успех; а потому мозолить людям глаза в Петербурге ему было незачем, – обо всей этой истории уже ходило много разговоров в столице. С другой стороны, на случай перемены настроения, не мешало на запас иметь против Зубова эту комбинацию; да и ссориться с Зоричем Александру Андреевичу тоже не хотелось. Житейский опыт подсказал графу самый лучший выход из положения. Нужно было милостиво и ласково отослать Штааля с какой-либо временной миссией за границу, а Зоричу написать, что по нездоровью государыни их дело откладывается на некоторое время.

Разных миссий в чужие края у Александра Андреевича было всегда достаточно. В царствование императрицы Екатерины иностранная коллегия то и дело посылала за границу небогатых молодых дворян – больше для того, чтобы дать им возможность посмотреть европейские столицы и приучиться к серьезным делам. Чаще всего отправлялись курьеры в Лондон, особенно после того как русский посланник Воронцов установил с Питтом прекрасные отношения вместо прежних очень дурных. В Лондон Безбородко надумал послать и Штааля; хотел при случае напомнить о себе своему старинному сослуживцу Воронцову, с которым, как и с Ростопчиным, теперь следовало поддерживать особенно хорошие отношения. Генерал-поручик граф Семен Романович Воронцов, еще со времен государственного переворота 1762 года, когда он с оружием в руках отстаивал права Петра III, и в продолжение всего царствования



Екатерины, считался в оппозиции двору. Он имел, таким образом, большие шансы на милость Павла Петровича.

Штааль с восторгом принял предложение отправиться за границу. Правда, жизнь в Петербурге очень ему нравилась; но его еще больше прельщали возможность посмотреть чужие края и особенно секретная дипломатическая миссия, о которой министр сказал ему несколько слов с видом чрезвычайно важным и таинственным. Молодой человек чувствовал искреннюю благодарность к судьбе: он явно шел по пути, указанному великим Декартом. Однако без разрешения Семена Гавриловича Штааль не считал возможным уехать за границу. Но это Александр Андреевич взял на себя. Зоричу были немедленно посланы два письма: одно, умоляющее, от самого Штааля, другое, политическое, от графа Безбородко. Очень скоро из Шклова пришел благоприятный ответ. Семен Гаврилович, очень много выигравший в ту пору в карты, соглашался с доводами министра, поздравлял своего воспитанника с началом карьеры, благословлял его в дорогу и на скорое возвращение в Петербург да вдобавок посылал в подарок немалую сумму денег, хотя молодой человек ехал на казенный счет. Бесконечно обрадованный Штааль, оставшись наедине с Безбородко, закрывши наглухо все двери, попросил графа ознакомить его с доверяемой ему секретной миссией и вручить соответствующую на этот счет инструкцию (это слово он выговорил с особенной любовью). Александр Андреевич, не моргнув глазом, тут же придумал секретную миссию. Он поручил Штаалю совершенно конфиденциально выяснить настроения французских эмигрантов в Лондоне.

За несколько дней до отъезда Штааля к нему неожиданно явился весьма щеголеватый господин, не то грек, не то итальянец, по фамилии Альтести, первый секретарь графа Зубова. В самых любезных, милостивых выражениях он объявил молодому человеку, что его сиятельство вполне одобряет выбор дипломата, сделанный для столь важной и ответственной миссии графом Безбородко. Со своей стороны, граф рекомендует Штаалю не торопиться с возвращением в Петербург; советует очень тщательно изучить настроения французской эмиграции и прислать о них подробнейший письменный доклад. Зубов разрешал даже молодому дипломату непосредственно обращаться с докладами к нему, минуя все инстанции. Со своей стороны, он давал Штаалю письма к Питту и к лорду Гренвиллю. «Вам известно, милостивый государь, – добавил небрежно Альтести, – что Питт ни в чем не может отказать графу».

Штааль был немного смущен и важностью тех знаменитых людей, к которым ему давались письма, и неожиданным расположением Зубова: на вечере в Эрмитаже ему показалось, будто он не понравился графу. Молодой человек рассказал Александру Андреевичу о визите Альтести. Безбородко усмехнулся и тут же с усмешкой продиктовал Штаалю ответное письмо Зубову: в нем Штааль самым почтительным образом благодарил графа за доверие, обещался в точности выполнить инструкцию, со всем требуемым службой рвением, в возможно непродолжительный срок, и обещал немедленно по возвращении в Петербург повергнуть к стопам ее величества политический доклад, указанный мудрыми предначертаниями его сиятельства. Александр Андреевич даже зачавкал губами от удовольствия, сочинив этот ехидный ответ. Он сам запечатал письмо и сказал, что отошлет его графу после отъезда Штааля.

Молодой дипломат был с утра до ночи наверху блаженства. Еще никогда он не имел в своем распоряжении таких огромных денег, как теперь, и, преисполненный радостью жизни, ни в чем не отказывал ни другим, ни себе. Иванчук перехватил у него до будущего четверга порядочную сумму; а раза два весь кружок веселящейся молодежи кутил целую ночь на его счет. Зато Штааль приобрел популярность, был на «ты» с двумя камергерами и имел опытных друзей, которые охотно давали ему самые полезные советы. Дипломат Насков, изъездивший всю Европу, после второй бутылки шампанского записал даже для Штааля весь маршрут его поездки – с указанием в каждом городе лучших гостиниц, театров, ресторанов и веселых домов. В Париже Штааль должен был остановиться в Hotel des Trois Mylords, завтракать в Cafe Foy, обедать в La Grotte Flamande, любоваться мадемуазель Рокур в «Merope», Ларивом

в «Hercule sur le Mont-Etna», а даму должен был искать, разумеется, в Пале-Рояле. Насков сильно расчувствовался и со слезами в голосе пропел: «Chacun y prend son regal, se n'est qu'au Palais-Royal, se n'est qu'au Palais-Royal...»<sup>58</sup> Только когда все уже было записано, он неожиданно вспомнил, что Парижа Штааль никак не увидит, ибо короля больше нет, во Франции правят якобены и попасть туда совершенно невозможно. Дипломат залился слезами и проклял французскую революцию.

Штааль, впрочем, отнюдь не думал, что ему не придется побывать в Париже. Он просто не мог себе этого представить. Правда, французская граница была закрыта, поездки в революционную страну строгойше запрещены императрицей, дипломатические сношения с Францией прерваны, а с французов, оставшихся в России, даже взята торжественная подписка, в которой они свидетельствовали свое отвращение к революции и верность престолу Бурбонов. Тем не менее Штааль был в душе уверен, что попадет в Париж, переживающий такое интересное историческое время, и попадет не как-нибудь, а с шумом. Свою роль во Франции он представлял себе различно. Иногда он был якобеном, произносящим громовую речь в Конвенте (но это, вероятно, слишком бы огорчило императрицу и Зорича, а потому было неудобно). Случалось, напротив, укрощал революцию мирным способом и становился благодетелем всего мира. Иногда он, наконец, вместе с Суворовым (или даже вместо него), грозным контрреволюционным вождем, вторглся в Париж во главе доблестной русской армии, спасал королеву и судил цареубийц. Но во всяком случае в Париже он должен был себя показать. Никакая слава не установлена окончательно до ее признания Парижем.

Штааль целые дни делал необходимые покупки. Сшил себе много платья по самой новой моде, привезенной недавно из-за границы известным щеголем, князем Борисом Голицыным; обзавелся и великолепными галстуками, закрывавшими шею до подбородка, – это тоже было последнее слово моды. Ехать он решил с удобствами. Купил прекрасную дорожную карету с модными круглыми стеклами и, разумеется, серебряный погребец. Дипломат Насков наметил ему список напитков, которые надлежало иметь в погребеце. Большинства этих напитков Штааль не знал, но ему нравились их звучные названия. Купил он также в Английском магазине шкатулку с потайным замком для секретных бумаг, пару пистолетов с золотой насечкой, великолепную саблю с дамасским клинком, дорогой толедский кинжал и много других нужных в дороге вещей... Вещи он любил страстно – какой-то обезьяньей любовью.

Рано утром к подъезду ночного ресторана Лиона подкатила собственная коляска Штааля. Кончился поздний ужин. Молодой дипломат очень лихо расцеловал на прощание цыганку Настю, которая была ему очень противна (тогда цыгане как раз начинали входить в моду), подарил ей на счастье пятьдесят рублей, слегка, впрочем, пожалев об этих деньгах, и горячо простился с друзьями. Вооруженный с головы до ног, запахнув дорожную доху, Штааль сел в собственную коляску; еще раз нащупал под дохой сумку с деньгами и пистолеты; удостоверился в целостности шкатулки с секретным замком и закричал ямщику: «С Богом! Трогай!» – совершенно так, как это делал, по слухам, отправляясь в поход, фельдмаршал Румянцев-Задунайский.

<sup>58</sup> «Здесь каждый получает наслаждение только в Пале-Рояле, только в Пале-Рояле...» (франц.)

## 10

«Езда на остров любви, перевод с французского в Гамбурге через студента Василия Тредьяковского, с прибавлением стихов переводчика на разные случаи. Издание второе. Санкт-Петербург».

Штааль захлопнул книгу. Теперь, при въезде в Кёнигсберг, читать было, во всяком случае, поздно. Сочинение это, случайно захваченное с «Жилблазом» и «Путеводителем к счастью», регулярно вынималось из ручного чемодана на каждой станции; но дальше заглавия молодой путешественник не пошел. Читать ему не хотелось. Его предупреждали, что в дороге без общества должно быть скучно, – и он старался скучать. Но точно назло в течение всей поездки ему было чрезвычайно весело – от свободы, от секретной миссии, от погребца, от девятнадцатилетней крови. Он и дневника не вел в дороге, но зато, собираясь вести дневник, старался думать литературно и мысленно вырабатывал себе слог.

«Жаль, что не было в пути никаких случаев и происшествий... Ведь напали внезапно на Декарта разбойники... Славно он, у Байе, обнажил шпагу и укротил злодеев... Кажется, и Юлию Цезарю случилось на море что-то такое... В желтеньком учебнике истории это было на левой странице снизу. Скверный желтенький учебник... И слава Богу, что больше никогда не будет экзаменов. Впрочем, той детской ажитации и радости от хороших баллов, право, жаль... Какой, однако, вздор лезет порою в голову... А ведь это уже город Кёнигсберг, Европа... Ну, худая Европа, а все-таки Европа... И правда, чистенькие дома... А это что же: улица вымощена диким камнем справа и слева – прохожие идут не посередине, а только с боков... Ах, это и есть немецкие тротуары, о которых говорил Насков... Да, по всему видно, Европа... Теперь происшествий ждать нечего... Экая досада! Даже дорогой нигде не прошибались, и со зрителями ничего ни разу не выходило... Насков говорил, что зрителей надо непременно бить по морде. Как же я мог их бить по морде, если они сразу давали лошадей! И вообще – с какой стати бить людей по морде?.. А все-таки против Невского эти узенькие улицы никуда... Сейчас, верно, подъедем к гостинице... Разумеется, надо будет номер занять самый лучший... Дипломату ее величества нельзя останавливаться в номере средней руки: это роняет престиж отечества... Потом баня, потом обед. Спросят пашпорт и подорожную. *Bitte sehr*<sup>59</sup>: русский дипломат Штааль, такой пашпорт показать не стыдно... А могу ли я еще говорить немецким языком? Едва ли, однако, все позабыл... В гостинице, вероятно, останавливаются тутошние рыцари... Ведь в Пруссии еще сохранились риттеры. Если придется пожить дня два, познакомлюсь, какие такие немецкие риттеры... Да вот, кажется, и приехали... Ну да, приехали... Изрядная гостиница...»

Гостиница оказалась почти такой, какой ее воображал Штааль. И крыльцо, выстланное железной окалиной, и передняя с чучелами зверей, и большой номер необычной для русских постоялых дворов чистоты, и длинная низкая столовая с огромным камином, где весело трещал огонь, – все было совершенно как следует. Рыцарей, правда, в столовой не оказалось: обедала только за большим столом компания немецких купцов. Штааль, немного недовольный тем, что у него никто не спросил подорожной, подошел к длинной стойке столовой. У стойки нарезывала разные *belegte* и *illustrierte Brotchen*<sup>60</sup> очень хорошенюкая, совсем молоденькая блондинка, которая приветливо улыбнулась молодому человеку. Хотя Штаалю было довольно противно сочетание твердых разрыхленных яиц с кильками, сыром и салатом, он попросил барышню дать ему иллюстрированный хлебец и с удовольствием убедился в том, что сравнительно легко составляет более или менее сложные немецкие фразы. Затем молодой

<sup>59</sup> Извольте (нем.).

<sup>60</sup> Бутерброды (нем.).

человек занял место за отдельным круглым столиком, накрытым белоснежной скатертью грубоватого полотна, перед прибором с разными игривыми рисуночками и поучительными изречениями. Барышня проводила его глазами и последовала за ним к столику.

– Was wiinscht der gnadige Herr?<sup>61</sup> – спросила она ласково.

Штааль немедленно потребовал бутылку замороженного шампанского. Заказ этот произвел потрясающее действие. Барышня широко раскрыла глаза и робко разъяснила, что французского Зекта они не держат, но если gnadiger Herr'у угодно подождать, то можно послать за Зектом в лавку на Frazosische Strasse. У них же в погребе есть в большом выборе самое лучшее, старое рейнское вино. Штааль согласился подождать, и скоро действительно в столовую принесли бутылку, завернутую в чистую белую бумажку и перевязанную розовой ленточкой. Через несколько минут вся гостиница знала, что приехавший из Петербурга в собственной удивительной коляске русский, без всякого радостного или торжественного повода, заказал к Abendbrot'у<sup>62</sup> бутылку Зекта. К концу вечера это знал весь квартал, и с почтительным недоумением повторялось: «Diese Russen!»<sup>63</sup>

Хорошенькая барышня была дочь хозяина-вдовца. Ее звали Гертрудой. Она сама не подавала и не готовила блюд, а только принимала от гостей заказы, немедленно вписывала их в какую-то лежавшую на стойке толстую переплетенную книгу и, по-видимому, имела общее наблюдение за хозяйством: две молодые, краснощекие служанки часто дружелюбно с ней шептались. Одна из них, подав Штаалу заказанный им окровавленный ростбиф, внезапно, без видимой причины, прыснула со смеху, закрыла голову передником и убежала к фройлейн Гертруде. Обе залились у стойки сумасшедшим хохотом. К ним тотчас направилась прислуживавшая купцам вторая служанка, которая закрылась передником и стала хохотать еще по дороге. Купцы, в свою очередь, развеселились, а затем потребовали разъяснения причины веселья; узнав же эту причину, оглянулись на Штааля, захохотали, сказали разом «Grossartig!»<sup>64</sup> и горяча потребовали шесть новых кружек пива. Фройлейн Гертруда, очевидно опасаясь, как бы не обиделся русский гость, опять подошла к Штаалу и застенчиво объяснила ему, что общее веселье вызвал один замечательный виц, который сказала эта глупая Маргарита. «Der gnadige Herr soil das nicht ubel nehmen»<sup>65</sup>. Но Штааль и не думал обижаться, в доказательство чего счел нужным предложить фройлейн Гертруде бокал или, точнее, кружку тепловатого шампанского. Это предложение было принято с почтительным восторгом, в равной мере относившимся к цене вина и к щедрости гостя. Начался разговор. Через несколько минут Штаалу было известно, что фройлейн Гертруде семнадцать лет и что она училась два года в местной Tochterschule<sup>66</sup>. А фройлейн Гертруда узнала, что gnadiger Herr русский дипломат, имеющий секретную миссию в Лондон, и что ему двадцать четыре года. Последнее сообщение встретило, впрочем, с ее стороны некоторое недоверие. К концу обеда они были друзьями. Подошел к столику Штааля и отец фройлейн Гертруды, тоже выпил с почтительным восторгом кружку тепловатого Зекта и очень мило поговорил с русским гостем: похвалил Россию за ее громадную величину и выразил удивление перед мудростью императрицы Екатерины, которую маленькой девочкой видела в Цербсте двоюродная тетка его покойной жены.

Было сказано несколько слов и о войне с Францией. По всему было видно, что в этом деле хозяина волнует главным образом вопрос о наборе рекрутов. Революцией же он интересовался чрезвычайно мало и даже к самому факту ее относился как будто несколько недо-

<sup>61</sup> Что угодно милостивому господину? (нем.)

<sup>62</sup> Ужин (нем.).

<sup>63</sup> «Эти русские!» (нем.)

<sup>64</sup> «Великолепно!» (нем.)

<sup>65</sup> «Милостивый господин не должен на это обижаться» (нем.).

<sup>66</sup> Женская школа (нем.).

верчиво. Затем Штааль спросил хозяина, не знает ли он, когда уходит из ближайшего порта первый корабль в Англию. Хозяин немедленно справился по какому-то листку, для верности опросил еще купцов и сообщил, что первый корабль отойдет при благоприятной погоде через четыре дня. Таким образом, весь следующий день можно было смело оставаться в Кёнигсберге. Молодой человек, поглядывая на фройлейн Гертруду, принял не без удовольствия это известие, как ни неудобно было заставлять ждать Питта, Гренвилля и Воронцова. День был закончен небольшой совместной прогулкой с фройлейн Гертрудой и посещением кофейной, где к венскому кофею подавались удивительные Apfelkuchen mit Schlagsahne<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Яблочные пирожки со взбитыми сливками (нем.).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.